

В. Пушкин

Свечи



ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХІV





Борис РЫЖИЙ

СТИХИ

1993–2001



ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХІV

ББК 84.Р7

Р 93

Издание составил и подготовил
Г. Ф. Комаров

Редакция благодарит
Ирину Князеву и Б. П. Рыжего
за возможность пользоваться при работе над книгой
литературным архивом Бориса Рыжего

2-е издание, исправленное

Марка издательства работы
С. Семёнова

ISBN 978-5-89803-238-8

© Б. Рыжий (наследники), 2003, 2014

1993–1995



Урал научил меня не понимать вещей
элементарных. Мой собеседник — бред.
С тополя обрываясь, листы — «ничей»,
«чей», «ничей», как ромашка, кончались — «нет».

Мой собеседник-бред ни черта не знает
научил. В телаге, а-ля твой сосед — зэка,
я шнырял по нему. Если бог и дарил мне взгляд
сквозь луну, то как надзиратель — сквозь пуп глазка.

И хоть даль, зашвырнув горизонт (как лопату — Фрост,
спешащий до друга с беседой), идёт ко мне
руку лизать юляще, как добрый пёс,
мигая румянцем, алеющим на щеке,

всё равно пред глазами, на памяти, на памяти, на слуху:
беготня по заводу, крик, задержавший нас,
труп, качающийся под потолком в цеху
ночном. И тень, как маятник, между глаз.

1993, март

ЗАВЕЩАНИЕ

В. С.

Договоримся так: когда умру,
ты крест поставишь над моей могилой.
Пусть внешне будет он как все кресты,
но мы, дружище, будем знать с тобою,
что это — просто роспись. Как в бумаге
безграмотный свой оставляет след,
хочу я крест оставить в этом мире.

Хочу я крест оставить. Не в ладах
я был с грамматикой жизни.
Прочёл судьбу, но ничего не понял.
К одним ударам только и привык,
к ударам, от которых, словно зубы,
выпадают буквы изо рта.
И пахнут кровью.

1993, ноябрь



Разве только ангел на четыре слова
спустится с небес.

Я, со стуком в двери спутав стук больного,
выхожу в подъезд.

И дитя осенней, старой и печальной
кинутой звезды
допивает что-то из груди стеклянной,
но глаза чисты.

«Здесь бывал такой-то, Лена любит Любу,
некто Цой всегда».

Только ночью вижу тех, кто здесь не будет
больше никогда.

Отворить почтовый и, сухие листья
высыпав, закрыть.

Знаю, что правдивей и безмолвней писем
мне не получить.

Потому что можно не читать и вовсе
не писать ответ.

Только я подумал — появились гости
первый раз за... лет.

Вот и слышу, где-то музыка играет,
тыщу лет играй.

«Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
здравствуй и прощай».

1994, май

СТИХИ ДЛЯ ПУСТОГО АЛЬБОМА

Я приду к тебе с пустым альбомом,
друг мой ласковый и нежный,
на исходе жизни и с наклоном
подпишу небрежно:
«Я дарю тебе свою единственную книгу
на оставшееся счастье.
В знак победы горечи над криком.
Хоть сжигай её, хоть рви её на части —
не убудет. Кроме прозы,
всё, что я писать пытался, тут же
размывали слёзы.
Либо потому что вряд ли нужен
этот почерк, алые чернила.
(Впрочем, цвет у них — лиловый.)
Либо жизнь моя взаправду уместилась
в два печальных слова:
«фабрика», «цена». На этих чистых
нарисуй меня, как только выйду
от тебя, дружок, красивым и плечистым.
Но исчезнувшим из виду».

1994, май

ТРУБАЧ И ОСЕНЬ

Полю шляпы висели, как уши слона.

А на небе горела луна.

На причале трубач нам с тобою играл —
словно хобот, трубу поднимал.

Я сказал: посмотри, как он низко берёт,
и из музыки город встаёт.

Арки, лестницы, лица, дома и мосты —
неужели не чувствуешь ты?

Ты сказала: я чувствую город в груди —
арки, люди, дома и дожди.

Ты сказала: как только он кончит играть,
всё исчезнет, исчезнет опять.

О, скажи мне, зачем я его не держал,
не просил, чтоб он дальше играл?

И трубач удалялся — печален, как слон.
Мы стояли у пасмурных волн.

И висели всю ночь напролёт фонари.

Говори же со мной, говори.

Но настало туманное утро, и вдруг
всё бесформенным стало вокруг —
арки, лестницы, лица, дома и мосты.

И дожди, и речные цветы.

Это таял наш город и тёк по рукам —
навсегда, навсегда — по щекам.

1994, сентябрь, Петербург

ФОНАРЬ НАД КУСТАМИ

Ты помнишь тёмную аллею,
где мы на лавочке сидели,
о чём — не помню — говоря?
Фонарь глядел на нас печально —
он бледен был необычайно
тогда, в начале сентября.

Кусты заламывали кисти.
Как слёзы, осыпались листья.
Какая снилась им беда?
Быть может, то, что станет с нами,
во сне осознано кустами
осенними ещё тогда.

Коль так, то бремя нашей боли
мы им отдали поневоле,
мой ангел милый, так давно,
что улыбнись — твоя улыбка
в печаль ударится, как рыбка —
в аквариумное стекло.

И собирайся поскорее
туда, на тёмную аллею —
ходьбы туда всего лишь час —
быть с теми, кто за нас рыдает,
кто понимает, помнит, знает,
ждёт. И тревожится за нас.

1994, октябрь

НАД КРАСИВОЙ РЕКОЙ

Если жизнь нам дана для разлуки,
я хочу попрощаться с тобой
в этот вечер, под мрачные звуки
мутных волн, под осенней звездой.
Может, лучше не будет мгновенья
для прощанья, и жизнь пролетит
бесполезно, а дальше — забвенья
навсегда, где никто не простит.

Можно долго стоять на причале,
обнимая тебя, теребя
папироску. Как мало прощали
и любили меня и тебя.
Закурить, и глядеть, как проходит
мимо нас по красивой реке
пароход. Я скажу — пароходик,
но без нас, налегке, налегке.

1994, ноябрь



Словно уши, плавно качались полы
у промокшей шляпы — печальный слоник,
на трубе играя, глядел на волны.

И садились чайки на крайний столик.
Эти просто пили, а те — кричали,
и фонарь горел, не фонарь — фонарик.
Он играл на чёрном, как смерть, причале —
выдувал луну, как воздушный шарик.

И казалось — было такое чувство —
он уйдёт оттуда — исчезнет море,
пароходик, чайки — так станет грустно,
и глотнёшь не пива, мой друг, а горя.
Потому и лез, и совал купюры, —
чтоб играл, покуда сердца горели:
«Для того придурка, для этой дуры,
для меня, мой нежный, на самом деле».

1994, ноябрь



Ни денег, ни вина...

Адамович

— Пойдёмте, друг, вдоль улицы пустой,
где фонари висят, как мандарины,
и снег лежит, январский снег простой,
и навсегда закрыты магазины.
Рекламный блеск, витрины, трубы, рвы.
— Так грустно, друг, так жутко, так буквально.
А вы? Чего от жизни ждёте вы?
— Печаль, мой друг, прекрасное — печально.

Всё так, и мы идём вдоль чёрных стен.
— Скажите мне, что будет завтра с нами?
И безобразный вечный манекен
глядит нам вслед красивыми глазами.
— Что знает он? Что этот мир жесток?
Что страшен? Что мертвы в витринах розы?
— Что счастье есть, но вам его, мой бог,
холодные — увы — затмили слёзы.

1995, январь



Жёлтый мрамор — герой-пионер,
словно с автогуделкой, с трубой.
Безобразен сентябрьский сквер —
осыпается мелкой листвой.
И брожу, словно брежу во сне,
сам — герой неразгаданных снов.
И нелепо и гадостно мне.
Время крови, тиранов и слов.

Боже мой, так пустынно вокруг.
Тошнотворный капроновый свет.
Что сказать на прощание, друг,
я могу — негодяй и поэт?
Лист снимая — кленовый — рукой
с никакого, как небо, лица:
— Мы устали, сыграй нам отбой —
доиграй свою роль до конца.

1995, январь



В чёрной арке под музы́ку инвалида —
приблизительно сравнимого с кентавром —
танцевала босоногая обида.

Кинем грошик да оставим стеклотару.

Сколько песен написал нам Исаковский,
сколько жизней эти песни поломали.

Но играет, задыхаясь папироской,
так влюблённо — поднимали, врачевали.

Отойдём же, ведь негоже в судьи лезть нам —
верно, мы с тобой о жизни знаем мало.

Дай, Господь, нам не создать стихов и песен,
чтоб под песни эти ноги отрывало.

Допивай скорей, мой ангел, кока-колу,
в арке холодно, и запах — что в трактире.

Слишком жалобно — а я как будто голый,
как во сне кошмарном, нет — как в страшном мире.

1995, март



Я никогда не напишу
о том, как я люблю Россию.
Роман Тягунов

Как некий — скажем — гойевский урод
красавице в любви признаться, рот
закрыв рукой, не может, только пот

лоб леденит, до дрожи рук и ног
я это чувство выразить не мог,
ведь был тогда с тобою рядом Бог.

Теперь, припав к мертвеющей траве,
ладонь прижав к лохматой голове,
о страшном нашем думаю родстве.

И говорю: люблю тебя, да-да,
до самых слёз и нет уже стыда,
что некрасив, ведь ты идёшь туда,

где боль и мрак, где илистое дно,
где взор с осадком, словно то вино...
Иль я иду, а впрочем — всё одно.

1995, март



Скрипач — с руками белоснежными —
когда расселись птицы страшные
на проводах, сыграл нам нежную
музы́ку — только нас не спрашивал.
В каком-то сквере, в шляпе фетровой —
широкополой, с чёрной ниточкой.
Всё что-то капало — от ветра ли —
с его ресницы, по привычке ли?

Пытались хлопать, но — туманные —
от сердца рук не оторвали мы.
Разбитые — мы стали — странные,
а листья в сквере стали алыми.
Ах, если б звуки нас не тронули,
мы б — скрипачу — бумажки сунули.
— Едино — ноты ли, вороны ли, —
он повторял, — когда вы умерли.

1995, апрель



Злой чечен ползёт на берег...

Лермонтов

Про себя я молился за смелых...

Анненский

Когда сырой поднимется туман,
мне кажется, мой город наконец
поднялся к небу — этакий обман —
где речь пойдёт о качестве сердец.
Взлетай, пари — ресницы лёгкий взмах.
Ты этот сон так бережно хранил.
И плещутся афиши на углах
домов. Сей плеск подобен плеску крыл.

Но мне, Господь, мне нечего сказать —
твой лик одних младенцев устрошил.
Отсутствием твоим мне оправдать
легко тебя. Но как себя, скажи,
мне оправдать? Ведь мне не страшен ад —
я ад прошёл. Что ж выбрать мне из двух
зол — гордый, как войду я в райский сад,
где души тех младенцев, тех старух?

1995, июнь

ТРАМВАЙНЫЙ РОМАНС

В стране гуманных контролёров
я жил — печальный безбилетник.

И, никого не покидая,
стихи Ива́нова любил.

Любил пустоты коридоров,
зимой ходил в ботинках летних.

В аду искал приметы рая
и, веря, крестик не носил.

Я ездил на втором и пятом,
скажи — на первом и последнем,
глядел на траурных красоток,
выдумывая имена.

Когда меня ругали матом —
каким-нибудь нахалом вредным,
я был до омерзенья кроток,
и думал — благо, не война.

И стоя над большой рекою
в прожилках дёгтя и мазута,
я видел только небо в звёздах
и, вероятно, умирал.

Со лба стирая пот рукою,
я век укладывал в минуту.

Родной страны вдыхая воздух,
стыдясь, я чувствовал — украл.

1995, июль

МАНЕКЕН

Было всё как в дурном кино,
но без драчек и красных вин, —
мы хотели расстаться, но
так и шли вдоль сырых витрин.
И — ценитель осенних драм,
соглядатай чужих измен —
сквозь стекло улыбался нам
мило аглицкий манекен.

Улыбался, как будто знал
весь расклад — улыбался так.
«Вот и всё, — я едва шептал, —
ангел мой, это добрый знак...»
И — дождливый — светился ЦУМ
грязно-жёлтым ночным огнём.
«Ты запомни его костюм —
я хочу умереть в таком...»

1995, август, Екатеринбург

ОТ САМОГО СЕРДЦА

Заозерский прииск. Вся власть — один
презапойный мусор. Зовут Махмуд.
По количеству на лице морщин
от детей мужчин отличаешь тут.
Назови кого-нибудь днём «кретин» —
промолчит. А ночью тебя убьют.

А обилие поселковых шлюх?
«Молодой, молоденький. О, чего
покажу». — «Мужик-то её опух —
с тестем что-то выпили, и того».
Мне товарищ так говорит: «Я двух
сразу ух». Ну как не понять его?

Опуститься, что ли? Забыть совсем
обо всём? Кто я вообще таков?
Сочинитель мелких своих проблем,
беспольный деятель тихих слов.
«Я писатель». Смотрит, как будто съем,
а потом хохочет. Какой улов.

Константиныч, едем же, чёрт возьми!
Одиссея помните? Ах, —домой!
Сутки ехать. Смех. По любой грязи.
Чепуха. Толкай «шестьдесят шестой».
Не бестактность это, но с чем в связи,
уезжая — нет — не махну рукой?

1995, август, п. Кытлым

СЕВЕР

Алексею Кузину

Он лежал под звездой алмазной
и глядел из-под хвои и сучьев —
безобразный, богатый, трёхглазый.
Ах, какой удивительный случай!
Я склонился — небритый и грязный —
с любопытством. Почти бурундучьим.

У ручья, где крупцы металла
дорогого сулят вам свободу,
человечья руина лежала
и глядела в лицо небосводу.
Белка шишкой кедровой играла,
брал медведь свою страшную ноту.

Схоронить, отнести ли в посёлок,
может, родственник чей-то. Но — боже —
как же так, ведь мертвец — не ребёнок,
поднимать его, тискать негоже.
Даже пять драгоценных коронок
на зубах говорили мне то же.

...Как мы любим навязывать мёртвым
наши мненья — всё в радость нам, глупым.
Он погиб незнакомым и гордым —
даже вздох свой считаю преступным,
уходя налегке бесконечным и тёмным
лесом — страшным, густым, неприступным.

1995, август



Фонтанчик не работает — увы! —
уж осень, но по-прежнему тепло.
В сухую чашу каменные львы
глядят печально — битое стекло,
газеты, чьи-то грязные бинты,
окурочки, обёртки от конфет,
нагая кукла, старые листы,
да стоит ли — чего там только нет.

Глядят уныло девять милых морд
клыкастых, дорогих лохматых грив.
Десятым я сажусь на этот борт —
наверное, заплакал бы, но ни в
одном глазу — а ветер теребит,
как будто нищий, что-то из рванья.
Так и сидим — довольно скверный вид,
скажу я вам, мой ангел, — львы да я.

1995, август

ОДНИМ МУРЛЫКАНЬЕМ

1

Стихи осенние — как водится — печально
легли на сердце, мёртвые листы.
Ты, речь родимая, прощальна —
как жизнь любая, драгоценна ты.

2

А мы-то, глупые, тебя ни в грош не ставим —
болтает радио, романы в сто страниц.
Давай ошибочку исправим,
мой нежный друг, смахнув слезу с ресниц.

3

Одним мурлыканьем растягивая строчки,
сжимая их мурлыканьем одним,
стихотворение до точки
мы доведём, а там — поговорим.

4

Мол, драгоценная, затем ты в человеке,
чтоб — руку жаркую в холодной сжав горсти —
с трудом приподнимая веки,
шептать одно осеннее «прости».

1995, сентябрь

ЛЕТНИЙ САД

1

...дождевка, как будто слеза,
упала Евтерпе на грудь.
Стыжусь, опуская глаза,
теплее, чем надо, взглянуть:
уж слишком открыт этот вид
для сердца, увижу — сгорю.
Последнее, впрочем, болит
так нежно, что я говорю:
«Так значит, когда мы вдвоём
с тобою, и осень вокруг —
и камень в обличье твоём
не может не плакать, мой друг».

2

...«прощай» — чтобы душу скрести,
звук «ща» засорил нашу речь.
Есть тихое слово «прости»,
что значит до смерти беречь
разлуку, безумный покой,
тоску. Оглянулась, а я
глаза опустил. Над тобой
два ангела пели, летя:
«Прости его. Ведает бог,
молчание тоже ответ.
Он руку от сердца не смог
отнять — помахать тебе вслед».

3

...как будто я видел во сне
 день пасмурный, день ледяной.
Вот лебедь на чёрной воде
 и лебедь под чёрной водой —
два белых, как снег, близнеца
 прелестных, по сути — одно...
Ты скажешь: «Не будет конца
 у встречи». Хотелось бы, но
лишь стоит взлететь одному —
 второй, не осилив стекла,
пойдёт, словно камень, ко дну,
 терзая о камни крыла.

4

...художник, скорее — скрипач...
 Так беличий тонок смычок,
и так бесконечна, хоть плачь,
 скрипичная музыка. Бог
поэтов, скамейка, кусты —
 так мило, и траурно — фон.
Не вижу, но слышу, как ты
 рисуешь всё это. Поклон
тебе в этот ангельский час
 от сердца, что грустью живёт —
в твой не попадая пейзаж,
 поскольку однажды умрёт.

...а осенью в Летнем саду —
туманен, как осень, и тих —
музейной аллеей пройду
среди изваяний чужих
да сяду на влажной скамье
с окурочком, мокрый дурак.
Вот всё, что останется мне:
всей болью почувствовать, как,
за листиком новый листок
роняя, что слёзы любви,
сентябрь надевает венок
на бедные кудри мои.

1995, сентябрь–декабрь

ЗА ЧУГУННОЙ РЕШЁТКОЙ

Под руинами неба,
в доме снега и ветра —
у безлукого Феба
так печальна Евтерпа.

Нет ни жаркого грека,
ни красивого моря.
Грудь её — цвета снега,
взор её — цвета горя.

За чугуновой решёткой
листья падают ало.
То бесстыжей, то кроткой
ты ночами бывала.

Чужеземка нагая,
что глядишь, холодея?
Как согреть — я не знаю
и, как мальчик, робею.

Сам потаскан, издержан,
чем тебя я прикрою?
По-осеннему нежен,
я люблюсь тобою.

Но представлю охотно:
с детским личиком чистым
то в штормовке болотной,
то в телеге землистой.

1995, сентябрь

ПЕТЕРБУРГ

...Фонари — чья рука
их сорвёт, как цветы?
...Только эта река,
только эти мосты.

...Только эти дома,
только эти дворцы,
где на крышах с ума
посходили слепцы.

...Это, скинув кафтан,
словно бык раздувал
ноздри Пётр, да туман,
как каменья, тесал.

Это ты, Ленинград,
это ты, Петербург —
рай мой призрачный, ад,
лабиринт моих мук.

Дай я камнем замру —
на века, на века.
Дай стоять на ветру
и смотреть в облака.

Можешь душу забрать,
что трепещет любя.
...Дай с дождями рыдать
на плече у тебя.

1995, сентябрь, Петербург



Ах, какие звёзды — это сказка —
и снежок.

«Мне нужна твоя земная ласка,
а не бог».

Я угрюм, но хорошо нам вместе —
ты легка.

Спустимся в подвальчик: «Чай и двести
коньяка».

Отхлебну, не поперхнувшись взглядом.
Дрожь пройдёт.

Мне плевать, какая мерзость рядом
ест и пьёт.

Плюнь и ты. Садись как можно ближе.
Не вини.

Мне всегда хотелось быть таким же,
как они.

В шлюхе видеть шлюху. В пьянстве — радость.
«Дай мне ру...»

Выйдем, постоим с тобою малость
на ветру.

Всё для них, и звёзды. «Знаешь, страшно
жить и петь.

Только ты, мой друг, ведь ты не дашь мне
умереть?»

1995, октябрь

СТАНСЫ

Евг. Извариной

Фонтан замёрз. Хрустальный куст,
сомнительно похожий на
сирень. Каких он символ чувств —
не ведаю. Моя вина.

Сломаем веточку — не хруст,
а звон услышим: «Дин-дина».

Дружок, вот так замри и ты
на миг один. И, видит Бог,
среди январской пустоты
и снега — за листком листок —
на нём распустятся листы.
Такие нежные, дружок.

Мечтать о том, чему не быть.
Влюбляться в вещи, коих нет.
Ведь только так и можно жить.
Судьба бедна, и скуден свет
и жалок. Чтоб его любить,
додумывай его, поэт.

За мыслью — мысль. Строка — к строке.
Дописывай. И Бог с тобой.
Живи один, как налегке,
с великой тяжестью земной.
Хрустальный куст. В твоей руке
так хрупок листик ледяной.

1995, октябрь



Что сказать о мраморе, я люблю руины —
пасмурные, милая, мрачные картины.
Право же, эпитетов всех не перечислю.
Мысль, что стала статуей, снова стала мыслью.
Где она — бессмертная, точная — витает,
мрачная, весёлая — о, никто не знает.
Чтобы снова — кто она, ангел или птица? —
в чёрный, белый, розовый мрамор воплотиться.

Или в строки грустные, тёплые, больные,
бесконечно нежные и совсем чужие.
Чтобы — как из мрамора — мы с тобой застыли,
прочитав, обиделись, вспомнили, простили.
Не грусти на кладбищах и не плачь, подруга, —
дважды оправдается, трижды эта мука.
Пью за смерть Денисьевой, а потом — за Трою
и за жизнь, что рушится прямо предо мною.

1995, октябрь

НА МОСТУ

Не здесь, на мосту, но там, под водой,
мы долго стояли с тобой —

под волны бежав от себя, за черту —
на ржавом старинном мосту.

Мы здесь расставались с тобой навсегда.
Но там, где чернела вода,

казалось, мы будем обнявшись века
стоять. И шумела река.

И дни пролетели. И с мыслью одной
пришёл я сюда. Под водой

мы не расставались. И я закурил
тихонько. И я загрустил.

О, жизнь. Лабиринты твои, зеркала
кривые. Любовь умерла.

Как сладко и горько мне думать о том,
что там, в измерении ином,

я счастлив. Я молод. Я нежен, как бог.
И ты меня любишь, дружок.

1995, ноябрь

ПРОГУЛКА С МАЛЬЧИКОМ

А. Р.

И снег, и улицы, и трубы,
и люди странные, чужие навсегда.
Когда так тонкие ты поджимаешь губы,
мне чудится, ты что-то понял, — да?
Тогда, как мать, я над тобой склоняюсь,
сажусь на корточки перед тобой —
за всё, что понял ты, я извиняюсь, —
стыжусь с прикушенной губой
за поцелуи все, за сказки, сказки,
за ложь красивую, что ты не одинок.
Зачем так смотришь ты и щуришь глазки?
Не обвиняй меня, ну что я мог.

И мальчик маленький, и день так белоснежен.
«Ты рассужденьями не тронь его, не тронь...» —
шепчу себе, тебе — до боли нежен,
дыша в холодную ладонь.

Вот так мне кажется, что понимаю Бога,
готов его за всё простить:
он, сгусток кротости, не создан мыслить строго —
любить нас, каяться и гибнуть, может быть.

1995, ноябрь



Прости меня, мой ангел, просто так —
за то, что жил в твоей квартире.
За то, что пил. За то, что я — чужак —
так горячо, легко судил о мире.
Тот умница, — твердил, — а тот — дурак.

Я в двадцать лет был мальчиком больным
и строгим стариком одновременно.
Я говорил: «Давай поговорим
о том, как жизнь страшна и как мгновенна.
И что нам ад — мы на земле сгорим».

И всяким утром, пробудившись, вновь
я жить учился — тяжело, виновато.
Во сне была и нежность и любовь.
А ты, а ты была так яви рада.
А я, я видел грязь одну да кровь.

Меня прости. Прощением твоим
я буду дорожить за тем пределом,
где всё былое — только отблеск, дым.
...за то, что не любил как ты хотела,
но был с тобой и был тобой любим!

1995, ноябрь

ХОДАСЕВИЧ

...Так Вы строго начинали —
 будто умерли уже.
Вы так важно замолчали
 на последнем рубеже.

На стихи — не с состраданьем —
 с дивным холодом гляжу.
Что сказали Вы молчаньем,
 никому я не скажу.

Но когда, идя на муку,
 я войду в шикарный ад,
я скажу Вам: «Дайте руку,
 дайте руку, как я рад, —

Вы умели, веря в Бога
 так правдиво и легко,
ненавидеть так жестоко
 белых ангелов его...»

1995, ноябрь



Хочется позвонить
кому-нибудь, есть же где-то
кто-нибудь, может быть,
кто не осудит это
«просто поговорить».

Хочется поболтать
с кем-нибудь, но серьёзно
что-нибудь рассказать
путано, тихо, слёзно.
Тютчев, нет сил молчать.

Только забыты все
старые телефоны —
и остаётся мне
мрачные слушать стоны
ветра в моём окне.

Жизни в моих глазах
странное отраженье.
Там нелюбовь и страх,
горечь и отвращенье.
И стихи впопыхах.

Впрочем, есть номерок,
не дозвонюсь, но всё же
только один звонок:
«Я умираю тоже,
здравствуй, товарищ Блок...»

1995, ноябрь



Я скажу тебе не много —
два-три слова или слога.
Ты живёшь, и слава богу.

Я живу, и ничего.

Потихоньку, помаленьку —
не виню судьбу-злодейку,
свой талант ценю в копейку,
хоть и верую в него.

Разговорчик сей беспечный,
безыскусный, бесконечный
глуп наверно, друг сердечный,
но поверь мне, я устал
от заумных, от серьёзных,
слишком хладных или слёзных.
Я как Фет хочу, о звёздах —
нынче слаб у них накал.

Был я мальчиком однажды —
и с собой пытался дважды...
Впрочем, это всё не важно,
потому что нет, не смог.
Важно то, что в те минуты,
так сказать сердечной смуты,
абсолютно, абсолютно
нет, никто мне не помог.

Вот и ты, и ты мужайся —
с грустью, с болью расставайся.
Эх, перо моё, сломайся,
 что за рифмы, чур меня.
Не оставлю. Понимая,
как нужна тебе, родная,
чепуховина такая,
 погремушка, болтовня.

1995, ноябрь

ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ

С мёртвой куколкой мёртвый ребёнок
на кровать мою ночью садится.
За окном моим белый осколок
норовит оборваться, разбиться.

«Кто ты, мальчик?» — «Я девочка, дядя.
Погляди, я как куклка стала...»
— «Ах, чего тебе, девочка, надо,
своего, что ли, горя мне мало?»

«Где ты был, когда нас убивали?
Самолёты над нами кружились...»
— «Я писал. И печатал в журнале.
Чтобы люди добрей становились...»

Искривляются синие губки,
и летит в меня мёртвая кукла.
Просыпаюсь — обидно и жутко.
За окном моим лунно и тускло.

Нет на свете гуманнее ада,
ничего нет банальней и проще.
Есть места, где от детского сада
пять шагов до кладбищенской рощи.

«Так лежи в своей тёплой могиле —
без тебя мне находятся судьи...»
Боже мой, а меня не убили
на войне вашей, милые люди?

1995, декабрь

ДЕТСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Видишь дом, назови его дом.

Видишь дерево, дерево тоже
назови, а потом, а потом
назови человека прохожим.

Мост мостом постарайся назвать.

Помни, свет называется светом.

Я прошу тебя не забывать

говорить с каждым встречным предметом.

Меня, кажется, попросту нет —

спит, читает, идёт на работу
чей-то полурасслышанный бред,
некрасивое чучело чьё-то.

И живу-не-живу я, пока

дорогими устами своими —
сквозь туман, сон, века, облака —
кто-нибудь не шепнёт моё имя.

Говори, не давай нам забыть

наше тяжкое дело земное.

Помоги встрепенуться, ожить,

милый друг, повстречаться с собою.

1995, декабрь

1996

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Дивным светом иных светил
озарённый, гляжу во мрак.
Знаешь, как я тебя любил,
заучил твои строки как.

...У барыги зелёный том
на последние покупал —
бедный мальчик, в углу своём
сам себе наизусть читал.

Так прощай навсегда, старик,
говорю, навсегда прощай.
Белый ангел к тебе приник,
ибо он существует, рай.

Мне теперь не семнадцать лет,
и ослаб мой ребячий пыл.
Так шепчу через сотни лет:
«Знаешь, как я тебя любил».

Но представить тебя — уволь,
в том краю облаков, стекла,
где безумная гаснет боль
и растут на спине крыла.

1996, январь

◆ ◆ ◆

Воротишься на Родину...

И. Б.

Прощай, олимпиец, прощай навсегда —
сегодня твоя загорелась звезда.

И шепчутся звёзды во тьме ледяной:
«Наш брат навсегда возвратился домой...»

«Послушайте, звёзды, я тоже скажу...» —
но, взор опуская, слов не нахожу.

Слов не нахожу и гляжу на Неву,
как мальчик, губу прикусил — и реву.

1996, январь



Благодарю за всё. За тишину.
За свет звезды, что спорит с темнотою.
Благодарю за сына, за жену.
За музыку блатную за стеною.
За то благодарю, что скверный гость,
я всё-таки довольно сносно встречен.
И для плаща в прихожей вбили гвоздь.
И целый мир взвалили мне на плечи.
Благодарю за детские стихи.
Не за вниманье вовсе, за терпенье.
За осень. За ненастье. За грехи.
За неземное это сожаленье.
За бога и за ангелов его.
За то что сердце верит, разум знает.
Благодарю за то, что ничего
подобного на свете не бывает.
За всё, за всё. За то, что не могу,
чужое горе помня, жить красиво.
Я перед жизнью в тягостном долгу.
И только смерть щедра и молчалива.
За всё, за всё. За мутную зарю.
За хлеб. За соль. Тепло родного крова.
За то, что я вас всех благодарю
за то, что вы не слышите ни слова.

1996, март



В том доме жили урки —
 завод их принимал...
Я пыльные окурки
 с друзьями собирал.

Так ласково дружили —
 и из последних сил
меня изрядно били,
 и я умело бил.

Сидели мы в подъезде
 на пятом этаже.
Всегда мы были вместе,
 расстались мы уже.

Мы там играли в карты,
 мы пили там вино.
Там презирали парты
 и детское кино.

Нам было по двенадцать
 и по тринадцать лет.
Клялись не расставаться
 и не бояться бед.

...Но стороною беды
 не многих обошли.
Убитого соседа
 по лестнице несли.

Я всматривался в лица,
на лицах был испуг...
А что не я убийца —
случайность, милый друг.

1996, март

ПАДАЛ СНЕГ

Я в эту зиму как-то странно жил.
Я просыпался к вечеру, а ночью
брал чистый лист и что-то сочинял.
Но и на это не хватало сил.
Стихи мои мне не могли помочь, и
я с каждой новой строчкой умирал.

Мне приходили письма от друзей.
Не понимая, что́ на них отвечу,
я складывал их в ящик, не раскрыв.
Не мог я разобраться, хоть убей,
что за печаль свалилась мне на плечи,
поскольку в ней отсутствовал мотив.

И радость посторонняя и боль —
всё равно вызывало отвращенье.
И мне казалось даже: нет меня.
Я, вероятно, превратился в ноль.
Я жить ушёл в своё стихотворенье —
погас на пепле язычком огня.

И был я рад покинуть этот свет.
Но не переставала прекращаться
тоска, тянулась год, тянулась век.
Не страх, не боль меня смущали, нет.
Мне просто было не с кем попроситься...
И падал за окошком белый снег.

1996, март

ПАМЯТИ И. Б.

Привести свой дом...

А. П.

Когда бы смерть совсем стирала
что жизнь напела, нашептала —
пускай не всё, а только треть, —
я б не раздумывал нимало
и согласился умереть.

Милы кладбищенские грядки.
А ну, сыграем с жизнью в прятки.
Оставим счастье на потом.
Но как оставить в беспорядке
свой дом?

Живёшь — не видят и не слышат.
Умри — достанут, перепишут.
Разрушат и воссоздадут.
Дом перестроят вплоть до крыши
и жить туда с детьми придут.

Когда б не только тело гнило.
Спасёт ли чёрная могила?
Чья там душа витает днесь?
Витая, помнит всё, что было,
и видит, плача, то, что есть.

1996, март

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Как в юности, как в детстве я болел,
как я любил, любви не понимая,
как сложно сочинял, как горько пел,
глагольных рифм почти не принимая,
как выбирал я ритмы, как сорил
метафорами, в некоем стиле нервном
всю ночь писал, а поутру без сил
шёл в школу, где был двоечником первым.

И всё казалось, будто чем сложнее,
тем ближе к жизни, к смерти, к человекам, —
так продолжалось много-много дней,
но, юность, ты растаяла со снегом,
и оказалось, мир до боли прост,
но что-то навсегда во мне сломалось,
осталось что-то, пусть пустырь, погост,
но что-то навсегда во мне осталось.

Так, принимая многое умом,
я многое душой не принимаю,
так, вымотавшийся в бою пустом,
теперь я сух и сухо созерцаю
разрозненные части бытия —
но по частям, признаюсь грешным делом,
наверное уже имею я
большое представление о целом.

И с представленьем этим навсегда
я должен жить, не мучась, не страдая,
и, слушая как булькает вода
в бессонных батареях, засыпая,
склоняться к белоснежному листу
в безлюдное, в ночное время суток —
весь этот мрак, всю эту пустоту
вместив в себя, не потеряв рассудок.

1996, март

ЧЁРНОЕ НЕБО

...На чёрном небе белая звезда —
она была и будет навсегда,

до нас доходят тонкие лучи...
Но лучше электричество включи

и отойди от чёрного окна —
здесь ты один, а там она одна,

и не о чем вам с нею говорить,
а немоту ни с кем не разделить.

1996, март

ЭЛЕГИЯ

Ворюгой, что, красненький пресс
в кармашек невидимый пряча,
взлетает до самых небес... —
а разве могло быть иначе?
Ребёнком смотрел на тюрьму
из окон, беседовал с уркой,
что, мол-де, нельзя одному,
и честно пожертвовал курткой,
чтоб вышел на волю браток
в спортивных штанах человеком —
до дому идя, не продрог,
уральским застигнутый снегом.

...Родившись на самом краю,
я видел и вижу всё это.
Отдайте мне душу мою
иль дальше сошлите со света.
Теперь, когда вижу мента,
не знаю, куда мне и деться, —
корёжит меня правота,
тоска разрывает мне сердце.
Копейки чужой не украл.
Напротив, целуясь с ветрами,
берёт с меня страшный Урал
подобными, впрочем, стихами.

1996, март



В России расстанутся навсегда.
В России друг от друга города
столь далеки,
что вздрагиваю я, шепнув «прощай».
Рукой своей касаюсь невзначай
её руки.

Длиною в жизнь любая из дорог.
Скажите, что такое русский бог?
«Конечно, я
приеду». Не приеду никогда.
В России расстанутся навсегда.
«Душа моя,

приеду». Через сотни лет вернусь.
Какая малость, милость, что за грусть —
мы насовсем
прощаемся. «Дай капельку сотру».
Да, не приеду. Видимо, умру
скорее, чем.

В России расстанутся навсегда.
Ещё один подкинь кусочек льда
в холодный стих...
И поезда уходят под откос...
И самолёты, долетев до звёзд,
сгорают в них.

1996, апрель



...в эти руки бы надёжный автомат,
в эту глотку бы спиртяги с матюгом.
Боже правый, почему я не солдат,
с жёлтой пчёлкой, лёгкой пулей незнаком?

Представляю, как жужжала бы она,
как летела бы навывлет через грудь.
Как бы плакала великая страна, —
проводжала сквозь себя в последний путь.

Ну какую должен песню я сложить,
чтобы ты меня однажды отпустил
просто гибнуть до последнего и жить —
от стихов твоих, от звёзд твоих, могил?

1996, май

К ОВИДИЮ

Овидий, я как ты, но чуточку сложнее
судьба моя. Твоя и горше и страшней.
Волнения твои мне с детских лет знакомы.

Мой горловой Урал едва ль похож на Томы,
но местность такова, что чувства таковы:
я в Риме не бывал и город свой, увы,
не видел. Только смерть покажет мне дорогу.

Я мальчиком больным шептал на ухо Богу:
«Не знаю, где, и как, и кем покинут я,
кто плачет обо мне, волнуясь и скорбя...»

А нынче что скажу? И звери привыкают.

Жаль только, ласточки до нас не долетают.

1996, май



Нет, главное, пожалуй, не воспеть,
но главное, ни словом не обидеть —
и ласточку над городом увидеть,
и бабочку в руках своих согреть.

О, сколько лет я жил — не замечал
ни веточек, ни листьев, ни травинок.
Я, сам с собой вступивший в поединок,
сам пред собою был и слаб и мал.

И на исходе сумрачного дня
я говорю вам, реки, травы, птицы,
я в мир пришёл, чтоб навсегда проститься.
И мнится, вы прощаете меня.

1996, май

ОРФЕЙ

1

...и сизый голубь в воздух окунулся,
и белый парус в небе растворился...
Ты плакала, и вот я оглянулся.
В слезах твоих мой мир отобразился
и жемчугом рассыпался, распался.
...и я с тобою навсегда остался,
и с морем Чёрным я навек простился...

2

...махни крылом, серебряная чайка,
смахни с небес последних звёзд осколки...
Прости за всех, кого до боли жалко,
кого любил всем сердцем да и только.
Жестоко то, что в данный миг жестоко.
Ум холоден, для сердца нет урока.
...мы ничего не помнить будем долго...

3

...я помню эти волосы и плечи...
Я знаю всё, отныне всё иначе.
Я тенью стал, а сумрачные речи
отныне стихнут, тишина их спрячет.
...я вывел бы тебя на свет из ночи —
был краток путь, но жизнь ещё короче
и не ценнее греческого плача...

1996, май

РОБИНЗОН

Что воля для быка, Юпитеру — тюрьма.

В провинции моей зима, зима, зима.

И хлопья снежные как мотыльки летают,
покуда братья их лежат и умирают, —
коль жизни их сложить, получатся века.

Но разве смерть сия достойна мотылька?
В провинции моей они огня искали...

Но тщетно, не нашли. И я найду едва ли
последней степени безумья и тепла,
чтоб чёрным пеплом стать душа моя могла.

Итак, глядим в окно. Горят огни на зоне.

Я мальчишкой читал рассказ о робинзоне:
на острове одном, друзья, он жил один.

Свидетель бурь морских, бежавший их глубин,
он жил, он строил дом, налаживал хозяйство,
тем самым побеждал судьбы своей коварство.

Но всё же, думал я, ведь робинзон умрёт
и обветшает дом и разбредётся скот —
как, право, жутко жить без друга и без Бога.

И страшно было мне, что мысль моя жестока,
но всё-таки, друзья, всем сердцем я желал,
чтоб судно новое у тех погибло скал.

1996, май

ВДОЛЬ КАНАЛА

Когда идёшь вдоль чёрного канала
куда угодно, мнится: жизни мало,
чтоб до конца печального дойти.

Твой город спит. Ни с кем не по пути.
Так тихо спит, что кажется, возможно
любое счастье. Надо осторожно
шагать, чтоб никого не разбудить.

О, господи, как спящих не простить!
Как хочется на эти вот ступени
сесть и уснуть, обняв свои колени.
Как страшно думать в нежный этот час:
какая боль ещё разбудит нас...

1996, июнь

В КАФЕ

Я пил пиво в безлюдном кафе. Бутерброд
дожевал, сигареты и спички нашёл.
Но в замызанной куртке, лохматый как кот,
кто-то странный ко мне подошёл.

И безумный, бессвязно лопочет слова.
«Что такое, дружок? Ничего не пойму...»
Отвернувшись, заплакал как мальчик, едва
протянул я бутылку ему.

...Неужели вот так я стоял перед Ним
страшной ночью, когда, задыхаясь от слёз,
умолял, чтоб в густой фиолетовый дым
Он меня на ладонях унёс?

1996, июнь

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Александр Леонтьеву

Поездку в Царское Село
осуществить до боли просто:
таксист везёт за девяносто,
в салоне тихо и тепло.
«...Поедем в Царское Село?...»

«...Куда там, господи прости, —
неисполнимое желанье.
Какое разочарованье
нас с вами ждёт в конце пути...»
Я деньги комкаю в горсти.

«...Чужую жизнь не повторить,
не удержать чужого счастья...»
А там, за окнами, ненастье,
там продолжает дождик лить.
Не едем, надо выходить.

Купить дешёвого вина.
Купить и выпить на скамейке,
чтоб тени наши, три злодейки,
шептались, мучались без сна.
Купить, напиться допьяна.

Так разобидеться на всех,
на жизнь, на смерть, на всё такое,
чтоб только небо золотое,
и новый стих, и старый грех...
Как боль звенит, как льётся смех!

И хорошо, что никуда
мы не поехали, как мило:
где б мы ни пили — нам светила
лишь царскосельская звезда.
Где б мы ни жили, навсегда!

1996, июнь



Ах, подожди ещё немножко,
постой со мной, послушай, как
играет мальчик на гармошке —
дитя бараков и бродяг.
А рядом, жалкая как птица,
стоит ребёнок лет пяти.
Народ безлюб, но щедр однако —
подходят с денежкой в горсти.
Скажи с снобизмом педагога
ты, пустомеля пустомель,
что путь мальчишки — до острога,
а место девочки — бордель.
Не год, а век, как сон, растает,
твой бедный внук сюда придёт,
а этот мальчик всё играет,
а эта девочка — поёт.

1996



Вдвоём с тобой, в чужой квартире —
чтоб не замёрзнуть, включим газ.

Послушай, в этом чёрном мире
любой пустяк сильнее нас.
Вот эти розы на обоях,
табачный дым, кофейный чад,
лишь захотят — убьют обоих,
растопчут, если захотят.
Любовники! какое слово,
великая, святая ложь.
Сентиментален? Что ж такого?
Чувствителен не в меру? Что ж!
А помнишь юность? странным светом
озарены и день и ночь.
Закрой глаза, укройся пледом —
я не могу тебе помочь.

1996



В одной гостиничке столичной,
завесив шторами окно,
я сам с собою, как обычно,
глотал дешёвое вино.

...Всезнайки со всего Союза,
которым по хую печаль
и наша греческая муза,
приехали на фестиваль.

Тот фестиваль стихов и пенья
и разных безобразных пьес
был приурочен к Дню рожденья
поэта Пушкина А. С.

Но поэтесс, быть может, лица
и, может быть, фигуры их
меня заставили закрыться
в шикарных номерах моих...

И было мне темно и грустно,
мне было скучно и светло, —
стихи, и вообще искусство,
я ненавидел всем назло.

Ко мне порою заходили,
но каждый был вполне кретин.
Что делать, Пушкина убили,
прелестниц нету, пью один.

1996



Всё, что взял у Тебя, до копейки верну
и отдам Тебе прибыль свою.

Никогда, никогда не пойду на войну,
никогда никого не убью.

Пусть танцуют, вернувшись, герои без ног,
обнимают подружек без рук.

Не за то ли сегодня я так одинок,
что не вхож в этот дьявольский круг?

Мне б ладонями надо лицо закрывать,
на уродов Твоих не глядеть...

Или должен, как Ты, я ночами не спать,
колыбельные песни им петь?

1996



Долго-долго за нос водит,
а потом само собой
неожиданно приходит
и становится судьбой.
Неожиданно взрослеем:
в пику модникам пустым
исключительно хореем
или ямбом говорим.
Не лелеем, гоним скуку
и с надменной простотой
превращаем в бытовуху
музы лепет золотой.
Без причины не терзаем
почву белого листа,
Бродскому не подражаем —
это важная черта.
А не завтра — послезавтра
мы освоим твёрдый шаг,
грозный шаг ихтиозавра
в смерть, в историю, во мрак.

1996



Когда наступит тишина,
у тишины в плену
налей себе стакан вина
и слушай тишину.
Гляди рассеянно в окно —
там улицы пусты.
Ты умер бы давным-давно,
когда б не верил ты,
что стоит пристальней взглянуть,
и все увидят ту,
что освещает верный путь,
неяркую звезду.
Что надо только слух напрячь,
и мир услышит вдруг
и скрипки жалобу, и плач
виолончели, друг.

1996



...Когда примерзают к окурку
знакомые с речью уста,
хочу быть похожим на урку
под пристальным взором мента.
Ни Ада, ни Рая, ни Бога —
чтоб нас прибирали к рукам,
нам так хорошо, одиноко,
так жарко и холодно нам.
В аллее вечернего парка
ты гневно сняла сапожок,
чтоб вытряхнуть снег, — как подарка
я ждал нашей встречи, дружок.

1996

МОСКОВСКИЙ ДЫМ

Тяжела французская голова:
помирать совсем или есть коней?
...Ты пришёл, увидел — горит Москва,
и твоя победа сгорает в ней.
Будешь ты ещё одинок и стар
и пожалуешься голубым волнам:
— Ведь дотла сгорела... Каков пожар!..
А зачем горела — неясно нам.
Разве б мы посмели спалить Париж —
наши башни, парки, дворцы, дома?
Отвечай, волна, — почему молчишь?
Хоть не слаб умом — не достать ума... —

И до сей поры европейский люд,
что опять вдыхает московский дым,
напрягает лбы...

Да и как поймут,
почему горим, для чего горим?

1996



Над домами, домами, домами
голубые висят облака —
вот они и останутся с нами
на века, на века, на века.

Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит...
Никогда, никогда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит.

Пусть разрушатся наши скорлупы,
геометрия жизни земной, —
оглянись, поцелуй меня в губы,
дай мне руку, останься со мной.

А когда мы друг друга покинем,
ты на крыльях своих унеси
только пар, только белое в синем,
голубое и белое в си...

1996

◇ ◇ ◇

Нас с тобой разбудит звон трамвая,
ты протрёшь глаза:
небеса, от края и до края
только небеса...
Будем мы обижены как дети:
снова привыкать
к пустякам, что держат нас на свете.
Жить и умирать
возвратят на землю наши души,
хоть второго дня
я, молясь, просил его: послушай,
не буди меня.

1996

НЕДОУМЕНЬЕ

...С какую щедростью могу я поквитаться
с тем, кто мне выделил из прочих благ своих
от дикой нежности ночами просыпаться,
искать их, призрачных, не обретая их.

Игра нелепая, она без всяких правил,
снежинка лёгкая, далёкая звезда,
письмо написано, и я его отправил
куда неведомо, неведомо куда.

Покуда ненависть сменяется любовью,
живём, скрипим ещё, но вот она пришла —
как одиночество с надломленной бровью
в окошко бросится, не тронет и стекла.

А как не бросится, а как забьётся в угол,
комочек маленький, трепещущий комок,
я под кровать его, я в шкаф его засунул,
он снова выскочил, дрожит и смотрит вбок.

С кем попросаемся, кого сочтём своими?
Вот звёзды, сгусточки покоя и огня...

И та, неяркая, уже имеет имя —
его не знаю я и выдумал не я.

1996

НОВЫЙ ГОД

Жена заснула, сын заснул —
в квартире сумрачней и тише.
Я остаюсь с собой наедине.
Вхожу на кухню и сажусь на стул.
В окошке звёзды, облака и крыши.
Я расползаюсь тенью по стене.

Закуриваю, наливаю чай.
Всё хорошо, и слава богу...
Вот-вот раскрою певчий рот.
А впрочем, муза, не серчай:
я музыку включу и понемногу
сойду на нет, как этот год.

Включаю тихо, чтоб не разбудить.
Скрипит игла, царапая пластинку.
И кажется, отчётливее скрип,
чем музыка, которой надо жить.
И в полусне я вижу половинку
сна: это музыка и скрип.

Жена как будто подошла в одной
рубашке, топоток сынули
откуда-то совсем издалека.
И вот уже стоят передо мной.
Любимые, я думал, вы уснули.
В окошке звёзды, крыши, облака.

1996

ОДНОЙ ПОЭТЕССЕ

...Слоняясь по окраинным дворам,
я руку жал убийцам и ворам.
Я понимал на ощупь эти руки:
не раз они заламывались в муке.
Ты жаждешь денег? Славы? Ты? Поэт?
Но извини, как будто прощя нет
пути, чтоб утолить подобны страсти:
воруй, и лги, и режь, и рви на части.

...Кто в прошлой жизни нищим всё раздал,
в богатстве, славе жил, а умирал
в пещере мрачной, в бедности дремучей,
тот в этой жизни — и представься случай —
(с гордыней ведь не справится душа)
ни жалости не примет, ни гроша.

1996

О. ДОЗМОРОВУ ОТ Б. РЫЖЕГО

Мысль об этом леденит: О
лег, какие наши го
ды, а сердце уж разбито,
нету счастья у него,
хоть хорошие мы поэ
ты, никто не любит на
с — человечество слепое,
то всё его вина,
мы погибнем, мы умрём, О
лег, с тобой от невнима
ния — это так знакомо, —
а за окнами зима,
а за окнами сугробы,
неуютный грустный вид.
Кто потащит наши гробы,
кто венки нам подарит?

1996

ПАМЯТИ ПОЭТА

...Остаются нам детали и
разговор о пустоте...
Не в Нью-Йорке, не в Италии,
но в Иркутске, Воркуте,

Гданьске, Шманьске, Белореченске
говорят о смерти Бро.
Но едва ли я гусиное
подточу себе перо, —

я люблю своё молчание
и ухмылочку свою.
Если плохо мне ночами, я
песен, право, не пою.

...Узнаю про всё на улице
и, смахнув с ушанки снег:
«Ах, Иосиф Александрович,
дорогой мой человек...»

1996

ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ

Под бережным прикрытием листвы
я следствию не находил причины,
прицеливаясь из рогатки в
разболтанную задницу мужчины.

Я свет и траекторию учёл.
Я план отхода рассчитал толково.
Я вовсе на мужчину не был зол,
он мне не сделал ничего плохого.

А просто был прекрасный летний день,
был школьный двор в плакатах агитпропа,
кусты сирени, лиственная тень,
футболка «КРОСС» и кепка набекрень.
Как и сейчас, мне думать было лень:
была рогатка, подвернулась ...

1996

У ТЕЛЕЭКРАНА

Уж мы с тобой, подруга, поотстали
от моды — я живой и не вдова ты,
убили этих, тех — не убивали,
повсюду сопляки и автоматы.
Я не могу смотреть на эти лица,
верней — могу, но не могу представить,
что этот бедный юноша-убийца
и нас убил, разрушив нашу память.
...Давай уйдём, нам Пётр откроет двери,
нас пустят в Рай за жалость и за скуку...
О, если бы я мог ещё поверить
во что-то неземное — дай мне руку.

1996

ФОТОГРАФИЯ

...На скамейке, где сиживал тот
— если сиживал — гений курчавый,
ты сидишь, соискатель работ,
ещё нищий, уже величавый.
Фотография? Лёгкий ожог.
На ладошку упавшая спичка.
Улыбаться не стоит, дружок,
потому что не вылетит птичка.
Но вспорхнёт голубой ангелок
на плечо твоё, щурясь от света —
кодак этого видеть не мог,
потому что бессмысленно это.
Пусть над тысячей бед и обид
стих то твёрдо звучит, то плаксиво...
Только помни того, кто стоит
по ту сторону объектива.

1996



...Хотелось музыки, а не литературы,
хотелось живописи, а не стиховой
стопы ямбической, пеона и цезуры.

Да мало ли чего хотелось нам с тобой.

Хотелось неба нам, ещё хотелось моря.

А я хотел ещё, когда ребёнком был,
большого, светлого, чтоб как у взрослых, горя.

Вот тут не мучайся — его ты получил.

1996



Через парк по ночам я один возвращался домой — если б всё описать, что дорогой случалось со мной — сколько спас я девиц, распугал похотливых шакалов. Сколько раз меня били подонки, ломали менты — вырывался от них, матерился, ломился в кусты. И от злости дрожал. И жена меня не узнавала в этом виде. Ругалась, смеялась, но всё же, заметь, соглашалась со мною пока не усну посидеть. Я, как бог, засыпал, и мне снились поля золотые. Вот в сандалиях с лирой иду, собираю цветы... И вдруг встречается мне Аполлон, поэтический бог: «Хорошо сочиняешь, да выглядишь дурно, сынок».

1996

◇ ◇ ◇

Я в детстве думал: вырасту большим —
и страх и боль развеются как дым.

И я увижу важные причины,
когда он станет тоньше паутины.

Я в детстве думал: вырастет со мной
и поумнеет мир мой дорогой.

И ангелы, рассевшись полукругом,
поговорят со мною и друг с другом.

Сто лет прошло. И я смотрю в окно.
Там нищий пьёт осеннее вино,

что отливает безобразным блеском.
...А говорить мне не о чем и не с кем.

1996, март



...Я подойду к окошку — как бы тайно,
как будто я иной, ненастоящий:
о как неосторожно, как случайно
упал он с неба, белый и хрустящий.
Деревья на руках его качают,
а я гляжу, какой он синеватый.
Они его однажды проморгают,
он станет серой, чуть набрякшей, ватой.
Бывают после мутного веселья
такие дни хрустальной, звонкой боли,
как будто мы дождались новоселья,
мы стали новосёлы поневоле.
Подходит время с юностью проститься,
но первый снег ещё лежит, не тает.
Но всё отчётливей родные лица —
мой бесконечный сон их озаряет.

1996



...Я часто дохожу до храма,
но в помещенье не вхожу —
на позолоченного хлама
горы с слезами не гляжу.
В руке, как свечка, сигарета.
Стою минуту у ворот.
Со мною только небо это
и полупьяный нищий сброд.
...Ах, одиночество порою,
друзья, подталкивает нас
к цинизму жуткому, не скрою,
но различайте боль и фарс...
А ты, протягивая руку,
меня, дающего, прости
за жизнь, за ангелов, за скуку,
благослови и отпусти.
Я не набит деньгами туго...
Но, уронив платочек в грязь,
ещё подаст моя подруга,
с моей могилы возвратясь.

1996

7 НОЯБРЯ

До боли снежное и хрупкое
сегодня утро, сердце чуткое
насторожилось, ловит звуки.

Бело пространство законное —
мальчишкой я врывался в оное
в надетом наспех полушубке.

В побитом молью синем шарфике
я надувал цветные шарики,
гремели лозунги и речи...

Где ж песни ваши, флаги красные,
вы сами — пьяные, прекрасные —
меня берущие на плечи?

1996



...Глядишь на милые улыбки
и слышишь шёпот за спиной —
редакционные улитки
столы волочат за собой.
Ну публикация... Ну сотня...
И без неё бы мог прожить...
Не лучше ль, право, в подворотне
с печальным уркой водку пить?
Есть мир иной, там нету масок —
ужасны лица и без них.
Есть мир иной, там нету сказок
шутов бесполоых и шутих.
Там жизнь обнажена как схема,
и сразу видно: тут убьёт.
Зато надутая проблема —
улыбки, взгляда — не встаёт.
...Покуда в этом вы юлили,
слегка прищуривая глаз,
в том, настоящем, вас убили
и руки вытерли о вас.

1996

1997



Зависло солнце над заводами,
и стали чёрными берёзы.
...Я жил тут, пользуясь свободами
на смерть, на осень и на слёзы.

Спецухи, тюрьмы, общежития,
хрущёвки красные, бараки,
сплошные случаи, события,
убийства, хулиганства, драки.

Пройдут по рёбрам арматурою
и, выйдя из реанимаций,
до самой смерти ходят хмурые
и водку пьют в тени акаций.

Какие люди, боже праведный,
сидят на корточках в подъезде —
нет ничего на свете правильной
их пониманья дружбы, чести.

И горько в сквере облетающем
услышать вдруг скороговорку:
«Серёгу-жилу со товарищи
убили в Туле, на разборке...»

1997



О. Дозморову

Над головой облака Петербурга.
Вот эта улица, вот этот дом.
В пачке осталось четыре окурка —
видишь, мой друг, я большой эконом.

Что ж, закурю, подсчитаю устало:
сколько мы сделали, сколько нам лет?
Долго ещё нам идти вдоль канала,
жизни не хватит, вечности нет.

Помнишь ватагу московского хама,
читку стихов, ликованье жлобья?
Нет, нам нужнее «Прекрасная дама»,
желчь петербургского дня.

Нет, мне нужней прикурить одиноко,
взором скользнуть по фабричной трубе,
белую ночью под окнами Блока,
друг дорогой, вспоминать о тебе!

1997

ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Здорово, Александр! Ну как ты там, живой?
Что доченьки твои? Как милая Наташа?
Вовсю ли говоришь строкою стиховой,
дабы цвела, как днесь цветёт, поэзия наша?

...А я, брат, всё ленюсь. Лежу на топчане.
Иль плюну в потолок. Иль дам Петру по роже.
То девку позову, поскольку свыше мне
ниспослано любить пол противоположный.

Не то, брат, Петербург, где князя любит граф.
В том годе на балу поручик Трошкин пальцем
мне указал на двух... И разве я не прав,
что убежал в село, решил в селе остаться?

И всё бы благодать, да скучно! Вот сосед
трепался, что поэт. Наверное, бездарный.
Пожалуй, приезжай. Ах, мы с тобою лет
не виделись уж пять. Конюшни, девки, псарни.

Борзые, волкода... Скажу, прекрасны все.
Вот — позабыл как звать — ещё одну породу
сосед пообещал... Поедем по росе
на лучших рысаках на псовую охоту

в начале сентября. Тогда нарядный бор,
как барышня, весь ал от поцелуев влажных
тумана и дождя. Стоит, потупив взор.
А в небе лебеди летят на крыльях важных —

ну не поэзия ли? Я прикажу принять
тебя, мой Александр, по всем законам барства.
...Вернёмся за полночь и сядем вспоминать
шалую молодость, совместное гусарство.

1997



Дядя Саша откинулся. Вышел во двор.
Двадцать лет отмотал: за раскруткой раскрутка.
Двадцать лет его взгляд упирался в забор.
Чай грузинский ходила кидать проститутка.

— Народились, пока меня не было, бля, —
обращается к нам, улыбаясь, — засранцы!
Стариков помянуть бы, чтоб — пухом земля,
но пока будет музыка, девочки, танцы.

Танцы будут. Наденьте свой модный костюм
двадцатилетней давности, купленный с куша.
Опускайтесь с подружкой в кабак, словно в трюм,
пропустить пару стопочек пунша.

Танцы будут. И с финкой Вы кинетесь на
двух узбеков, «за то, что они спекулянты».
Лужа крови смешается с лужей вина.
Издаваясь, Шопена споют музыканты.

Двадцать лет я хожу по огромной стране,
где мне жить, как и Вам, довелось, дядя Саша,
и всё чётче, точнее вспоминаются мне
Ваш прелестный костюм и улыбочка Ваша.

Вспоминается мне этот маленький двор,
длинноносый мальчишка, что хнычет, чуть тронешь.
И на финочке Вашей красивый узор:
— Подарю тебе скоро (не вышло!), жидёныш.

1997



...Кто тебе приснился? Ёжик?!

Ну-ка, ну-ка, расскажи.

Редко в сны заходят всё же к
нам приятели ежи.

Чаще нам с тобою снятся
дорогие мертвецы,
безнадёжные страдальцы,
палачи и подлецы.

Но скажи, на что нам это,
кроме страха и седин:

просыпаемся от бреда,
в кухне пьём валокардин.

Ёжик — это милость рая,
говорю тебе всерьёз,
к жаркой ручке припадая
и растроганный до слёз.

1997

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ

Жил я в городе Тюмени
 ровно десять дней подряд —
водку пил да ел пельмени,
 как в народе говорят.
Да ходил в одну контору
 для пустого разговору.

Там-то я с одной девицей
 познакомился, друзья.
Будь мне, девица, сестрицей,
 коль иначе быть нельзя, —
обронил я как-то сдуру
 иль поддавшись амуру.

Буду жить, сказал, в Тюмени,
 никуда из этих мест,
брошу звонкие хорей,
 грозный ямб и анапéст.
Дактиль, дольник, амфибрахий —
 вообще забуду на хер.

Стану лучше, стану проще —
 как железная кровать,
как берёзовая роща,
 как два слова «вашу мать»,
как кружочек, как квадратик,
 физик или математик.

Но, друзья, не тут-то было,
и сказала мне она:
я другого полюбила
и другому отдана.
И что муж её татарин
мне не будет благодарен.

Так уехал из Тюмени
я на запад и восток.
Млад, красив, но тем не мене
бесконечно одинок,
а какой-то... впрочем, это
вряд ли тема для поэта.

1997



Две сотни счётчик наматает, —
очнёшься, выпатив губу.
Сын Человеческий не знает,
где приклонить ему главу.

Те съехали, тех дома нету,
та вышла замуж навсегда.
Хоть целый век летай по свету,
тебя не встретят никогда.

Не поцелуют, не обнимут,
не пригласят тебя к столу,
вторую стопку не придвинут,
спать не положат на полу.

Как жаль, что поздно понимаешь
ты про такие пустяки.
Но наконец ты понимаешь,
что все на свете мудаки.

И остаётся расплатиться
и выйти заживо во тьму.
Поёт магнитофон таксиста
плохую песню про тюрьму.

1997



Молодость мне много обещала,
было мне когда-то двадцать лет.
Это было самое начало,
я был глуп, и это не секрет.

Это, — мне хотелось быть поэтом,
но уже не очень, потому
что не заработаешь на этом
и цветов не купишь никому.

Вот и стал я горным инженером,
получил с отличием диплом.
Не ходить мне по осенним скверам,
вишней не записывать в альбом.

В голубом от дыма ресторане
слушать голубого скрипача,
денежки отлистывать в кармане,
развернув огромные плеча.

Так не вышло из меня поэта
и уже не выйдет никогда.
Господа, что скажете на это?
Молча пьют и плачут господа.

Пьют и плачут, девок обнимают,
снова пьют и всё-таки молчат,
головой тонически качают,
матом силлабически кричат.

1997

ЭЛЕГИЯ

...Нам взяли ноль восьмую алкаши —
и мы, я и приятель мой Серёга,
отведали безумия в глуши
строительной, сбежав с урока.

Вся Родина на пачке папирос.
В наличии отсутствие стакана.
Физрук, математичка и завхоз
ушли в туман.

И вышел из тумана
огромный ангел, крылья волоча
по щебню, в старушáчьих ботах.
В одной его руке была праща,
в другой кастет блатной работы.

Он, прикурив, пустил кольцо
из твёрдых губ и сматерился вяло.
Его асимметричное лицо
ни гнева, ни любви не выражало.

Гудрон и мел, цемент и провода.
Трава и жесьть, окурки и опилки.
Вдали зажглась зелёная звезда
и осветила детские затылки.

...Таков рассказ. Чего добавить тут?
Вот я пришёл домой перед рассветом.
Вот я закончил Горный институт.
Ты пил со мной, но ты не стал поэтом.

1997

К ОЛЕГУ ДОЗМОРОВУ

Владелец лучшего из баров¹,
боксёр², филолог и поэт,
здоровый, как рязанский боров,
но утончённый на предмет
стиха, прими сей панегирик —
элегик, батенька, идиллик.

Когда ты бил официантов³,
я мыслил: разве можно так,
имея дюжину талантов⁴,
иметь недюжинный кулак.
Из темперамента иль сдуру
хвататься вдруг за арматуру.

Они кричали, что — не надо.
Ты говорил, что — не воруй.
Как огонь, взметнувшийся из ада,
как вихрь, как ливень жёсткоструй-
ный бушевал ты, друг мой милый.
Как Л. Толстой перед могилой.

Потом ты сам налил мне пива,
орешков дал солёных мне.
Две-три строфы⁵ неторопливо
озвучил в грозной тишине.
И я сказал тебе на это:
вновь вижу бога и поэта⁶.

...Как наше слово отзовется,
дано ли нам предугадать?⁷

Но право, весело живётся.
И вот уж я иду опять
в сей бар, единственный на свете,
предаться дружеской беседе⁸.

1997

Примечания автора:

¹ О. Дозморов действительно владел пивным баром, название которого точно установить не удалось. Впрочем, правнук поэта в своём последнем интервью, данном журналу «Поэмс анд поэтс», сказал, что бар никак не назывался вообще или назывался «У Фёдора».

² О. Дозморов боксом не занимался, что можно увидеть, заглянув в «Воспоминания» поэта. «<...> двадцать семь лет, треть моей жизни, прошли в борцовском зале. О, эти продолговатые штанги, круглые гантели и перекладина <...>» Боксом же занимался Б. Рыжий, который, по меткому замечанию современника, «так любил сей вид спорта, что любого понравившегося ему миг окрестит боксёром, а после и сам верит в это».

³ Факт избиения официантов официально не подтверждается.

⁴ О. Дозморов был замечательным музыкантом и рисовал темперой, кроме того см. прим. 2.

⁵ Какие именно строфы имеются в виду — неизвестно.

⁶ Над этим двустишием Б. Рыжий особенно тяжело и мучительно работал, имеется около двухсот вариантов. «<...> Боря целый месяц сочинял две особенно важные строчки, а меня с детьми на это время выгнал из дому <...>» — вспоминает жена Б. Рыжего.

⁷ «Как отзовется слово наше, предугадать нам не дано... А нам, друзья, не всё ль равно...» *Ф. И. Тютчев*.

⁸ Явная поэтизация. «<...> в баре этого Дозморова всегда шум, гам. Девки орут, а мужики гогочут. Мат-перемат. Работают сразу два мощных магнитофона, и все танцуют. Боже, как я люблю это злчное место, где всегда ждёт меня моя <...>» — из *дневника Б. Рыжего*.



Взор поднимая к облакам,
раздумываю — сто иль двести.
Но я тебя придумал сам,
теперь пляши со мною вместе.

Давным-давно, давным-давно
ты для Григорьева плясала,
покуда тот глядел в окно
с решёткой — гордо и устало.

Нет ни решётки, ни тюрьмы,
ни «Современника», ни «Волги»,
но, гладковыбритые, мы
такие ж, в сущности, подонки.

Итак, покуда ты жива,
с надёжной грустью беспредельной
ищи, красавица, слова
для песни страшной, колыбельной.

1997



Так гранит покрывается наледью,
и стоят на земле холода, —
этот город, покрывшийся памятью,
я покинуть хочу навсегда.
Будет тёплое пиво вокзальное,
будет облако над головой,
будет музыка очень печальная —
я навеки прощаюсь с тобой.
Больше неба, тепла, человечности.
Больше чёрного горя, поэт.
Ни к чему разговоры о вечности,
а точнее, о том, чего нет.

Это было над Камой крылатою,
сине-чёрною, именно там,
где беззубую песню бесплатную
пушкинистам кричал Мандельштам.
Уркаган, разбушлатившись, в тамбуре
выбивает окно кулаком
(как Григорьев, гуляющий в таборе)
и на стёклах стоит босиком.
Долго по полу кровь разливается.
Долго капает кровь с кулака.
А в отверстие небо врывается,
и лежат на башке облака.

Я родился — доселе не верится —
в лабиринте фабричных дворов,
в той стране голубиной, что делится
тыщу лет на ментов и воров.

Потому уменьшительных суффиксов
не люблю, и когда постучат
и попросят с улыбкою уксуса,
я исполню желанье ребят.
Отвращенье домашние кофточки,
полки книжные, фото отца
вызывают у тех, кто на корточки
сев, умеет сидеть до конца.

Свалка памяти: разное, разное.
Как сказал тот, кто умер уже,
безобразное — это прекрасное,
что не может вместиться в душе.
Слишком много всего не вмещается.
На вокзале стоят поезда —
ну, пора. Мальчик с мамой прощается.
Знать, забрили болезного. «Да
ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся».
На прощанье страшнее рассвет,
чем закат. Ну, давай поцелуемся!
Больше чёрного горя, поэт.

1997



Как пел пропойца под моим окном!
Беззубый, перекрикивая птиц,
пропойца под окошком пел о том,
как много в мире тюрем и больниц.

В тюрьме херово: стражники, воры.
В больнице хорошо: врач, медсестра.
Окраинные слушали двory
такого рода песни до утра.

Потом настал мучительный рассвет,
был голубой до боли небосвод.
И понял я: свободы в мире нет
и не было, есть пара несвобод.

Одна стремится вопреки убить,
другая воскрешает вопреки.
Мешает свет уснуть и, может быть,
во сне узнать, как звёзды к нам близки.

1997



Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.

Духовые, ударные
в плане вечного сна.
О мои безударные
«о», ударные «а».

Отрепённости водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли,
и меня, и меня

до отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом жёлтом автобусе
с полосой голубой.

1997



Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,
в белом плаще английском уходит прочь.

В чёрную ночь уходит в белом плаще,
вообще одинок, одинок вообще.

Вообще одинок, как разбитый полк:
ваш Петербург больше похож на Нью-Йорк.

Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
Рыжий Б., Леонтьев А., Дозморов О.

Вспомнить пытаемся каждый любимый жест:
как матерится, как говорит, как ест.

Как одному: «другу», а двум другим
он «Сапोजок» подписывал: «дорогим».

Как говорить о Бродском при нём нельзя.
Встал из-за столика: не провожать, друзья.

Завтра мне позвоните, к примеру, в час.
Грустно и больно: занят, целую вас!

1997

◇ ◇ ◇

Снег за окном торжественный и гладкий,
пушистый, тихий.

Поужинав, на лестничной площадке
курили психи.

Стояли и на корточках сидели
без разговора.

Там, за окном, росли большие ели —
деревья бора.

План бегства из больницы при пожаре
и всё такое.

...Но мы уже летим в стеклянном шаре.
Прощай, земное!

Всем всё равно куда, а мне — подавно,
куда угодно.

Наследственность плюс родовая травма —
душа свободна.

Так плавно, так спокойно по орбите
плывёт больница.

Любимые, вы только посмотрите
на наши лица!

1997

1985

В два часа открывались винные магазины
и в стране прекращалась работа. Грузины
торговали зельем из-под полы.

Повсюду висели флаги.

В зелени скрывались маньяки.

Пионеры были предельно злы
и говорили про них: гомосеки.

В неделю раз умирали генсеки...

Откинувшийся из тюрьмы сосед
рассказывал небылицы.

Я, прикуривая, опалил ресницы,
и мне исполнилось десять лет.

1997

СТИХОТВОРЕНИЕ АП. ГРИГОРЬЕВА

После многодневного запоя
синими глазами мудака
погляди на небо голубое,
тормознув у винного ларька.

Ах, как всё прекрасно начиналось:
рифма-дура клеилась сама,
ластилась, кривлялась, вырывалась
и сводила мальчика с ума.

Плакала, жеманница, молилась,
нынче улыбается, смотри:
как-то всё, мол, глупо получилось,
сопли вытри и слезу сотри.

Да, сентиментален, это точно.
Слёзы, рифмы, всё что было, — бред.
Водка скиснет, но таким же точно
небо будет через тыщу лет.

1997

К А. П.

Почти случайно пьесу Вашу,
вернувшись с минеральных вод,
прочёл и вспомнил встречу нашу
в столице позапрошлый год.

...На лёгкой бричке — по казённым —
я из Казани прилетел
усталым, нищим и влюблённым
в поэмы Александра Л.

Звучит ли ныне эта лира,
умолк ли сей печальный глас?
От «Гезиода и Омира»
готов заплакать хоть сейчас.

Иль это Батюшков? Но к делу!
Нас познакомил Александр...
Простите, с рифмою заело:
тетраэдр... Гектор... автокар!

Да, точно Батюшков! Он, к слову,
поручик тоже. Что потом?
Зашли к жиду Золотарёву,
дурным затарились вином.

Пошли гулять на всю округу,
к цыганам ездили гурьбой.
Неделю ехал через Лугу
в село Бобрищево, домой.

Лесочек, поле, шито-крыто,
мила соседка, глуп сосед.
А Вас спросить позвольте: мы-то
стрелялись, что ли? Или нет?

1997

ОТРЫВОК БОЛЬШОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

...История проста: я был приятель мужа.
Тот часто уезжал, я как бы просто так
частенько заходил — там, дождик или стужа,
иль зной, туда-сюда — и как бы дружбы в знак
букетик, то да сё. Но доложу вам, много
пришлось потратить сил и нервов: холодна
она была ко мне. Невероятно. Бога
я умолял помочь. И раз, когда одна
она была, купив у чучемека розы,
настойчиво пришёл и говорю:

— Привет,

зашёл проститься, да, навеки, паровозы
ждут на вокзале, да, уже купил билет. —

Сработало. Юнцы, учитесь у поэта.

Я, закурив, глядел на полосу рассвета,
колечки выдыхал и важно молвил:

— Да,

пускай теперь сойду в окрестности Плутона.

— Мой милый, а куда ты едешь?

— А туда,

где блата топкие и воды Ахерона.

1997



От заворота умер он кишок.
В газете: «...нынче утром от инфаркта...»
и далее коротенький стишок
о том, как тает снег в начале марта.

— Я, разбирая папины архи-
вы, — томно говорила дочь поэта, —
нашла ещё две папки: всё стихи. —
Прелестница, да плюньте вы на это.

Живой он, верно, милый был старик,
возил вас в Переделкино, наверно.
Живите жизнь и не читайте книг,
их пишут глупо, вычурно и скверно.

Вам двадцать лет, уже пристало вам
пленять мужчин голубизною взора.
Где смерть прошла косою по кишкам,
не надо комсомольского задора.

1997



В номере гостиничном, скрипучем,
грешный лоб ладонью подперев,
прочитай стихи о самом лучшем,
всех на свете бардов перепев.

Чтобы молодящиеся Гали,
позабыв ежеминутный хлам,
горнишные за стеной рыдали,
растирали краску по щекам.

О России, о любви, о чести,
и долой — в чужие города.
Если жизнь всего лишь форма лести,
больше хамства: водки, господ!

Чтоб она трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива.
В небесах музЫка сочинялась
вечная — на смертные слова.

1997

1984

До блеска затаскавший тельник,
до дырок износивший ватник,
мне говорил Серёга Мельник,
воздушный в юности десантник,

как он попал по хулиганке
из-за какой-то глупой шутки —
кого-то зацепил по пьянке,
потом надбавки да раскрутки.

В бараке замочил узбека.
Таджику покалечил руку.
Во мне он видел человека,
а не какую-нибудь суку.

Мол, этот точно не осудит.
Когда умру, добром помянет.
Быть может, уркою не будет,
но точно мусором не станет.

1997

РАЗРЫВ

Наташа, ангел мой, душа
моя, прелестница Наташа,
о чём ты думаешь, спеша
к любовнику — о том, что наше
знакомство затянулось, да?
Наташа, это не беда:

ступай к нему, не всё ль равно
к спортсмену или инженеру,
я только погляжу в окно,
как ты идёшь — летишь — по скверу,
заходишь в розовый трамвай.
Но и меня не забывай:

я заболею и умру,
и ты найдёшь мою могилу,
и будешь, стоя на ветру,
рыдать и всхлипывать: мой милый,
от нас ушёл ты навсегда!
Наташа, это не беда —

ещё не умер я, шучу.
В разлуке слишком много прозы.
Последний раз прижмись к плечу
щекой, чтоб не увидеть — слёзы?
нет, — но боюсь, не утаю
улыбку хамскую мою.

1997



Ночь. Каптёрка. Домино.
Из второго цеха — гости.
День рождения у Кости,
и кончается вино:
ты сегодня младший, брат,
три бутылки и назад.

И бегу, забыв весь свет,
на меня одна надежда.
В солидоле спецодежда.
Мне почти семнадцать лет.
И обратно — по грязи,
с водкою из магази...

Что такое? Боже мой!
Два мента торчат у «скорой».
Это шкафчик, о который
били Костю головой?
Раз, два, три, четыре, пять,
все — в машину, вашу мать.

Зимний вечер. После дня
трудового над могилой
впечатляюще унылой
почему-то плачу я:
ну прощай, Салимов К.У.
Снег ложится на башку.

1997



Серж эмигрировать мечтал,
но вдруг менту по фейсу дал
и сдал дела прокуратуре,
Боб умер, скурвился Вадим,
и я теперь совсем один,
как чмо последнее в натуре.

Едва живу, едва дышу,
что сочиню — не запишу,
на целый день включаю Баха,
летит за окнами листва
едва-едва, едва-едва,
и перед смертью нету страха.

О где же вы, те времена,
когда я пьян был без вина
и из общаговского мрака,
отвесив стражнику поклон,
отчаливал, как Аполлон,
облеплен музами с химфака.

Я останавливал такси —
куда угодно, но вези.
Одной рукой, к примеру, Иру
обняв, другою обнимал,
к примеру, Олю и взлетал
над всею чепухой мира.

1997

ОДА

Скажу, рысак!

А. П.

Ночь. Звезда. Милицанеры
парки, улицы и скверы
объезжают. Тлеют фары
италийских «жигулей».
Извращения, как кошмары,
прячутся в тени аллей.

Четверо сидят в кабине.
Восемь глаз печально-синих.
Иванов. Синицын. Жаров.
Лейкин сорока двух лет,
на ремне его «макаров».
Впрочем, это пистолет.

Вдруг Синицын: «Стоп-машина».
Скверик возле магазина
«соки-воды». На скамейке
человек какой-то спит.
Иванов, Синицын, Лейкин,
Жаров: вор или бандит?

Ночь. Звезда. Грядёт расплата.
На погонах кровь заката.
«А, пустяк, — сказали только,
выключая бледный свет, —
это пьяный Рыжий Борька,
первый в городе поэт».

1997



Оставь мне небо тёмно-синее
и ели тёмно-голубые,
и повсеместное уныние,
и горы снежные, любые.

Четвёртый день нет водки в Кышлыме,
чисты в общаге коридоры —
по ним-то с корешами вышли мы
глядеть на небо и на горы.

Я притворяюсь, что мне нравится,
единственно чтоб не обидеть,
поддакиваю: да, красавица.
Да, надо знать. Да, надо видеть.

И лёгкой дымкою затянута,
и слабой краскою облита.
Не уходи, разок хотя бы ты
взгляни в глазок теодолита.

Иначе что от нас останется,
ещё два-три таких урока:
душа всё время возвращается
туда — и плачет, одинока.

1997

ПИСАТЕЛЬ

Как таксист, на весь дом матерясь,
за починкой кухонного крана,
ранит руку и, вытерев грязь,
ищет бинт, вспоминая Ивана

Ильича, чуть не плачет, идёт
прочь из дома: на волю, на ветер —
синеглазый худой идиот,
переросший трагедию Вертер —

и под грохот зелёной листвы
в захламлённом влюблёнными сквере
говорит полущёпотом: «Вы,
там, в партере!»

1997

◇ ◇ ◇

Ночь — как ночь, и улица пустынна
так всегда!

Для кого же ты была невинна
и горда?

...Вот идут гурьбой милиционеры —
все в огнях
фонарей — игрушки из фанеры
на ремнях.

Вот летит такси куда-то с важным
седоком,
чуть поодаль — постамент с отважным
мудаком.

Фабрики. Дымящиеся трубы.
Облака.
Вот и я, твои целую губы:
ну, пока.

Вот иду вдоль чёрного забора,
набекрень
кепочку надев, походкой вора,
прячась в тень.

Как и все хорошие поэты
в двадцать два,
я влюблён — и вероятно, это
не слова.

1997



Мальчик пустит по ручью бумажный
маленький кораблик голубой.

Мы по этой улице однажды
умирать отправимся гурьбой.

Капитаны, боцманы, матросы,
поглядим на крохотный линкор,
важные закурим папиросы
с оттиском печальным: «Беломор».

Отупевший от тоски и дыма,
кто-то там скомандует: «Вперёд!»
И кораблик жизни нашей мимо
прямо в гавань смерти поплывёт.

1997

АННА

...Я всё придумал сам, что записал,
однако что-то было, что-то было.
Пришёл я как-то к дочери поэта,
скончавшегося так скоропостижно,
что вроде бы никто и не заметил.
Читал его стихи и пил наливку.
В стихах была тоска, в наливке — клюква,
которую вылавливать сначала
я ложечкой пытался, а потом,
натрескавшись, большим и средним пальцем,
о скатерть вытирая их. Сиренью
и яблонями пахло в той квартире.

А Анна говорила, говорила —
конечно, дочь поэта звали Анной, —
что папа был приятель Евтушенки,
кивала на портретик Евтушенки,
стоявший на огромнейшем комод.
Как выше было сказано, сиренью
и яблонями пахло в той квартире.

Есть люди странные в подлунном мире,
поэтами они зовут себя:
стихи совсем плохие сочиняют,
а иногда рожают дочерей
и Аннами, конечно, называют.
И Анны, словно бабочки, порхают,
живут в стихах, стихов не понимают.

Стоят в нарядных платьях у дверей,
и жалобно их волосы колышет
сиреневый и яблоневый ветер.

А Анна говорила, говорила,
что, разбирая папины архивы,
так плакала, чуть было не сошла
с ума, и я невольно прослезился —
хотя с иным намереньем явился,
поцеловал и удалился вон.

1997



Ещё не погаснет жемчужин
соцветие в городе том,
а я просыпаюсь, разбужен
протяжным фабричным гудком.

Идёт на работу кондуктор,
шофёр на работу идёт.
Фабричный плохой репродуктор
огромную песню поёт.

Плохой репродуктор фабричный,
висящий на красной трубе,
играет мотив неприличный,
как будто бы сам по себе.

Но знает вся улица наша,
а может, весь микрорайон:
включает его дядя Паша,
контужен фугаскою он.

А я, собирая свой ранец,
жуя на ходу бутерброд,
пускаюсь в немислимый танец
известную музыку под.

Как карлик, как тролль на базаре,
живу и пляшу просто так.
Шумите, подземные твари,
покуда я полный мудака.

Мутите озёрные воды,
пускайте по лицам мазут.
Наступят надёжные годы,
хорошие годы придут.

Крути свою дрянь, дядя Паша,
но лопни моя голова,
на страшную музыку вашу
прекрасные лягут слова.

1997



...Дым из красных труб —
как нарисовали.
Лошадиный труп
в голубом канале.

Грустно без Л. Д.,
что теперь на море.
Лодка на воде
и звезда — во взоре.

Но зато Л. А. —
роковая дама,
и вполне мила,
как сказала мама.

Словно сочинил
это Достоевский.
До утра кадил
фонарями Невский.

И красив как бог
на краю могилы
Александр Блок —
умный, честный, милый.

1997

А. БЛОК

...Дописав письмо Борису,
из окошка наблюдал,
как сиреневую крысу
дворник палкой убивал.

Крыса мерзкая пищала,
трепетала на бегу,
крысьей крови оставляла
красной пятна на снегу.

Дворник в шубе царской, длинной
величав, брадат, щекаст —
назови его скотиной,
он и руку не подаст.

1997



...И понял я, что не одна мерцала
звезда, а две, что не одна горела
звезда, а две, и, не сказав, что мало,
я всё же не скажу, что много было
их (звёзд), чтобы расправиться со мглою
над круглою моею головою.

1997



Ещё мы жизнью полны в высшей мере —
за турниками ржавыми втроём
в обосранном, но тихом школьном сквере
играем в карты, курим и плюём.

Разбойник, работяга и бездельник —
ещё мы не глядим в такую даль.
И нежности и песен колыбельных
лежит на лицах женская печаль.

Ещё отнюдь не названы словами
все девяносто девять чувств. Пока
так запросто летят над головами
большие голубые облака.

Друзья мои, мы умерли как будто,
но почему-то я вас не забыл.
И в этот день рожденья почему-то
хочу сказать: я вместе с вами жил.

Мы вдвое алкашам переплатили.
И ждём упрямо часа своего —
бутылку «Русской», два «Агдама» или
семнадцать пива «Жигулёвского».

1997



Жил на свете господин —
не бухгалтер и не дворник —
так, никто, один очкарик,
инженеришка один
в начинавшемся на Е
некрасивом городке.

До-ре-ми внутри него,
си-до-соль — пищали ноты,
словно мыши, на работу
шёл, с работы, ничего
не любил он, кроме му-
зыки, снившейся ему.

Ах, какое небо над
билдингами — самолёты,
ангелы, пищали ноты:
ре-ми-до — висел закат
жёлтый, будто мандарин.
Жил на свете господин.

Смерть пришла, и умер он —
похоронный марш играли,
но исполнена печали
тихо, как случайный фон,
длилась музыка ина-
я, на всей земле одна.

...Невесомая печаль
вкралась в сутолоку марша:
мертвеца, листвы опавшей
одинако было жаль
ей, рождённой в пустоте
и не плачущей, как те.

1997

К ДОЗМОРОВУ

Отменно ль прозябается в краю,
задуманном для скалолазов
и альпинистов, на краю
Европы, не заходит ли за разум

твой ум свободный, дорогой Олег?
Пойдёшь направо — встретишь азиата.
Налево — европейский человек.
Внизу — шахтёры, водка, много мата.

На гору лезть — ты вроде не дурак, —
которые в горах, стоят за трезвость.
Такая отвратительная местность
досталась нам неуваженья в знак.

А мы должны любить и уважать,
жить, как шахтёры, пьяно и богато.
Душою русской плакать и рыдать
и щуриться глазами азиата.

Однако, мнится, сочинил стишок.
Мой бедный друг, прими сие посланье.
Без тех, что ниже, девятнадцать строк.
Да будет кратким рифмоожиданье!

И да узнает просвещённый свет,
как мы с тобою пили неустанно —
поэт национальный Татарстана,
Башкирии излюбленный поэт.

1997

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Я так люблю иронию мою.
И жизнь воспринимаю как удачу —
в надежде на забвенье, словно чачу,
её хотя и морщуся, но пью.

Я убивал, а вы играли в дум
до членов немощных изнеможенья.
И выдавало каждое движенье,
как заштампован ваш свободный ум.

А вы меня учили — это зал,
кулисы, зритель, прочие детали.
Вы жили, потому что вы играли.
Я жил и лишь поэтому играл.

Вы там, на сцене, многое могли.
А я об стену бился лбом бесславным.
Но в чём-то самом нужном, самом главном
вы мне невероятно помогли.

Я, мнится, нечто новое привнес
в поэзию, когда, столкнувшись с вами,
воспользовался вашими словами,
как бритвой, отвращения не без.

1997



Пела мама мне когда-то,
слышал я из темноты:
спят ребята и зверята
тихо-тихо, спи и ты.

Только — надо ж так случиться —
холод, пенье, яркий свет:
двадцать лет уж мне не спится,
сны не снятся двадцать лет.

Послونهاюсь по квартире
или сяду на кровать.
Надо мне в огромном мире
жить, работать, умирать.

Быть примерным гражданином
и солдатом — иногда.
Но в окне широком, длинном
тлеет узкая звезда.

Освещает крыши, крыши.
Я гляжу на свет из тьмы:
не так громко, сердце, тише —
тут хозяева не мы.

1997, май

КУСОК ЭЛЕГИИ

Н.

Дай руку мне — мне скоро двадцать три —
и верь словам, я дольше продержался
меж двух огней — заката и зари.
Хотел уйти, но выпил и остался
удерживать сей призрачный рубеж:
то ангельские отражать атаки,
то дьявольские, охраняя брешь
сияющую в беспредметном мраке.
Со всех сторон идут, летят, ползут.
Но стороны-то две, а не четыре.
И если я сейчас останусь тут,
я навсегда останусь в этом мире.
И ты со мной — дай руку мне — и ты
теперь со мной, но я боюсь увидеть
глаза, улыбку, облако, цветы.
Всё, что умел забыть и ненавидеть.
Оставь меня и музыку включи.
Я расскажу тебе, когда согреюсь,
как входят в дом — не ангелы — врачи
и кровь мою процеживают через
тот самый уголь — если б мир сгорел
со мною и с тобой — тот самый уголь.
А тот, кого любил, как ангел бел,
закрыв лицо, уходит в дальний угол.
И я вишу на красных проводах
в той вечности, где не бывает жалость.
И музыку включи, пусть шпарит Бах —
он умер, но мелодия осталась.

1997



В те баснословные года
нам пиво воздух заменяло,
оно, как воздух, исчезало,
но появлялось иногда.

За магазином ввечеру
стояли, тихо говорили.
Как хорошо мы плохо жили,
прикуривали на ветру.

И, не лишённая прикрас,
хотя и сотканная грубо,
жизнь отгораживалась тупо
рядами ящичков от нас.

И только небо, может быть,
глядело пристально и нежно
на относившихся небрежно
к прекрасному глаголу *жить*.

1997



Поехать в августе на юг
на десять дней, трястись в плацкарте,
играя всю дорогу в карты
с прелестной парочкой подруг.
Проститься, выйти на перрон
качаясь, сговориться с первым
о тихом домике фанерном
под тенью шелестящих крон.
Но позабыть вагонный мат,
тоску и чай за тыщу двести,
вдруг повстречавшись в том же месте,
где расставались жизнь назад.
А вечером в полупустой
шашлычной с пустотой во взоре
глядеть в окно и видеть море,
что бушевало в жизни той.

1997

ПАМЯТИ ДРУГА

Ю.Л.

Жизнь художественна, смерть документальна
И математически верна,
конструктивна и монументальна,
зла, многоэтажна, холодна.

Новой окрылённые потерей,
расступились люди у ворот.
И тебя втащили в крематорий,
как на белоснежный пароход.

Понимаю, дикое сравненье!
Но поскольку я тебя несу,
для тебя прощенья и забвенья
я прошу у неба. А внизу,

запивая спирт вишнёвым морсом,
у котла подонок-кочегар
отражает оловянным торсом
умопомрачительный пожар.

Поплывёшь, как франт, в costume новом,
в бар войдёшь красивым и седым,
перекинешься с красоткой словом,
а на деле — вырвешься как дым.

Вот и всё, и я тебя не встречу
в заграничном розовом порту
с девочкой, чья юбочка короче
перехода сторону по ту.

1997



Когда бы знать наверняка,
что это было в самом деле —
там голубые облака
весь день над крышами летели,
под вечер выпивши слегка,
всю ночь соседи что-то пели.

Отец с работы приходил
и говорил во рту с таблеткой,
ходил по улице debil,
как Иисус, с бородкой редкой.
Украв, я в тире просадил
трояк, стрельбой занявшись меткой.

Всё это было так давно,
что складываются детали
в иное целое одно,
как будто в страшном кинозале
полнометражное кино
за три минуты показали.

В спецшколу будем отдавать
его, пусть учится в спецшколе!
Отец молчит, и плачет мать,
а я с друзьями и на воле
ржу, научая слову «блядь»
дебила Николая, Колю.

1997



Учил меня, учил, как сочинять
стихи, сначала было интересно,
потом наскучило, а он опять:
да ты дикарь, да ты пришёл из леса,
да ты, туда-сюда, спустился с гор.
Я рассердился: кончен разговор,
в речах твоих оттенок нарциссизма
мерещится мне с некоторых пор.

Как хорошо, когда ты одинок,
от скуки сочинить десяток строк.
Как много может лёгкий матерок!..
А он не матерился — из снобизма.

1997



Вот дворик крохотный в провинции печальной,
где возмужали мы с тобою, тень моя,
откуда съехали — ты помнишь день прощальный? —
я вспоминал его, дыханье затая.

Мир не меняется — о тень! — тут всё как было:
дома хрущёвские, большие тополя,
пушинки кружатся — коль вам уже хватило,
пусть будет пухом вам огромная земля.

Под этим тополем я целовал ладони,
да, не красавице, но из последних сил,
летело белое на тёмно-синем фоне
по небу облако, а я её любил.

Мир не меняется, а нам какое дело,
что не меняется, что жив ещё сосед,
ведь я любил её, и облако летело,
но нету облака — и мне спасенья нет.

1997



Положив на плечи автоматы,
мимо той, которая рыдала,
уходили тихие солдаты
прямо в небо с громкого вокзала.

Развевались лозунги и флаги,
тяжело гудели паровозы.
Слёзы будут только на бумаге,
в небе нету слёз и слова «слёзы».

Сколько нынче в улицах Свердловска
голых тополей, испепелённых.
И летит из каждого киоска
песенка о мальчиках влюблённых.

Потому что нет на свете горя,
никого до смерти не убили.
Синий вечер, розовое море,
белые штаны, автомобили.

1997

◇ ◇ ◇

«Как в жизни падал, как вставал,
как вовсе умирал для света», —
он это в тридцать написал,
а в сорок кончилось всё это.

И тридцать лет сплошная тьма,
в конце которой смерть от тифа.
И ученик «Не дай с ума
сойти мне, Бог...» черкнёт брезгливо.

А через много-много лет
посредственный, но бесконечно
начитанный кивнёт поэт:
да, Батюшков! да-да, конечно!

1997

В ГОСТЯХ

— Вот «Опыты», вот «Сумерки», а вот
«Трилистник». Достаёт
из шкафа книги. «Сумерки», конечно,
нам интересна более других.
«Стихи — архаика. И скоро их
не будет». Это бессердечно.

И хочется спросить: а как
же мы? Он понимает — не дурак,
но, вероятно, врать не хочет — кротко
на нас с товарищем глядит
и улыбаясь говорит:
останьтесь, у меня есть водка.

1997

МАТЕРЩИННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

«Борис Борисыч, просим вас читать
стихи у нас». Как бойко, твою мать.
«Клуб эстети». Повесишь трубку: дура,
иди ищи другого дурака.
И комом в горле дикая тоска:
хуё-моё, у-гу, литература.

Ты в пионерский лагерь отъезжал,
тайком подругу Юлю целовал
всю смену. Было горько расставаться.
Но пионерский громыхал отряд:
«Нам никогда не будет шестьдесят,
а лишь четыре раза по пятнадцать!»

Лет пять уже не снится как ебёшь —
от скуки просыпаешься, идёшь
по направленью ванной, туалета.
И, втискивая в зеркало портрет
свой собственный побриться на предмет,
шарахаешься: кто это? Кто это?

Да это ты. Небритый и худой.
Тут, в зеркале, с порезанной губой.
Издёрганный, но всё-таки прекрасный,
надменный и весёлый Б.Б.Р.,
безвкусицей что счёл бы, например,
порезать вены бритвой безопасной.

1997

ЭЛЕГИЯ

Беременной я повстречал тебя
почти случайно. «Вова» протрубя,
твой бравый спутник протянул мне руку
с расплывшейся наколкой «Вова Л.».
Башкою ощутив тупую скуку,
я улыбнулся шире, чем умел.

Да это ж проза, — возмутитесь вы, —
и предупредная. Скверная, увы,
друзья мои. И я искал то слово
поэзии, что убивает мрак.
В картину мира вписываясь, Вова
пошёл к менту прикуривать, муadak.

«Ты замуж вышла, Оля? Я не знал».
Над зданьем думы ветер колыхал
огромный флаг. Рекламный щит с ковбоем
торчал вдали, отбрасывая тень
на Ленина чугунного, под коим
валялась прошлогодняя сирень.

...Мы целовались тут лет пять назад,
и пялился какой-то азиат
на нас с тобой, целующихся, тупо
и похотливо — что поделать, хам!
Прожектора ночного диско-клуба
гуляли по зелёным облакам.

1997



...А была надежда на гениальность. Была да сплыла надежда на гениальность.

— Нет трагедии необходимой, мила тебе жизнь. А поэзия — это случайность, а не неизбежность.

— Но в этом как раз и трагедия, злость золотая и нежность. Потому что не вечность, а миг только, час.

Да, надежда, трагедия, неизбежность.

1997

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА

Прошла гроза, пятьсот тонов заката
разлиты в небе: жёлтый, тёмно-синий.
Конечно, ты ни в чём не виновата,
в судьбе, как в небе, нету чётких линий.

Так вот на этом тёмно-синем фоне,
до смерти жёлтом, розовом, багровом
дай хоть последний раз твои ладони
возьму в свои и не обмолвлюсь словом.

Дай хоть последний раз коснусь губами
щёк, глаз, какие глупости, прости же
и помни: за домами-облаками
живёт поэт и критик Борька Рыжий.

Живёт худой, обросший, одинокий,
изрядно пьющий водку, неустанно
твердящий: друг мой нежный, друг жестокий
(заламывая руки), где ты, Анна?

1997

**ОФИЦЕРУ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
ПОЛКА Г-НУ ДОЗМОРОВУ, КОТОРЫЙ ВОТ УЖЕ
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СКЕПТИЧЕСКИ ОТНОСИТСЯ
К СЛАБОСТЯМ, СВОЙСТВЕННЫМ РУССКОМУ
ЧЕЛОВЕКУ ВООБЩЕ**

Ни в пьянстве, ни в любви гусар не знает меру,
а ты совсем не пьёшь, что свыше всяких мер.
...Уже с утра явлюсь к Петрову на квартиру —
он тоже, как и ты, гвардейский офицер.

Зачем же не кутить, когда на то есть средства?
Ведь русская гульба — к поэзии верный путь.
Таков уж возраст наш — ни старость и ни детство —
чтоб гаркнуть ямщику: пошёл куда-нибудь!

А этот и горазд: «По-о-оберегись, зараза!» —
прохожему орёт, и горе не беда.
Эх, в рыло б получил, да не бывать, когда за
евонною спиной такие господа.

Я ж ямщика тогда подначивать любитель:
зарежешь ли кого за тыщу, сукин сын?
Залыбится, свинья: «Э, барин-искуситель...»
Да видно по глазам, загубит за алтын.

Зачем же не кутить, и ты кути со мною,
единственная се на свете благодать:
на стол облокотясь, упав в ладонь щекою,
в трактире, в кабаке лениво созерцать,

как подавальщик наш выслушивает кротко
всё то, что говорит ему мой vis-a-vis:
«Да сёмги... Да икры... Да это ж разве водка,
любезный... Да блядей, пожалуй, позови...»

Петрову б всё блядей, а мне, когда напьюся,
подай-ка пистолет, да чтоб побольше крыс
шурашилось в углах. Да весь переблююся.
Скабрзости прости. С почтеньем. Твой Борис.

1997



Эмалированное судно,
окошко, тумбочка, кровать, —
жить тяжело и неудобно,
зато уютно умирать.
Лежу и думаю: едва ли
вот этой белой простыней
того вчера не укрывали,
кто нынче вышел в мир иной.
И тихо капает из крана.
И жизнь, растрёпана, как блядь,
выходит как бы из тумана
и видит: тумбочка, кровать...
И я пытаюсь приподняться,
хочу в глаза ей поглядеть.
Взглянуть в глаза и — разрыдаться
и никогда не умереть.

1997



Над саквояжем в чёрной арке
всю ночь трубил саксофонист.
Бродяга на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.

Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубашке белой с чёрным бантом
играть ночами на ветру.

Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна, —
спи, ни о чём не беспокойся,
есть только музыка одна.

1997



Был городок предельно мал,
 проспект был листьями застелен.
Какой-то Пушкин или Ленин
 на фоне осени стоял
совсем один, как гость случайный,
 задумчивый, но не печальный.

...Как однотипны города
 горнорабочего Урала.
Двух слов, наверно, не сказала,
 и мы расстались навсегда,
и я уехал одинокий,
 ожесточённый, не жестокий.

В таком же городе другом,
 где тоже Пушкин или Ленин
исписан матом, и забелен
 тот мат белилами потом,
проездом был я две недели,
 один, как призрак, жил без цели.

Как будто раздвоился мир
 и расстояние беспредельно
меж нами, словно параллельно
 мы существуем: щелок, дыр,
лазеек нет, есть только осень,
 чей взор безумен и несносен.

Вот та же улица, вот дом
до неприличия похожий,
и у прохожих те же рожи
— в таком же городе другом —
я не заплачу, но замечу,
что никогда тебя не встречу.

1997

1998

РАСКЛАД

Витюра раскурил окуроч хмуро.
Завёрнута в бумагу арматура.
Сегодня ночью (выплюнул окуроч)
мы месим чуроч.

Алёна смотрит на меня влюблённо.
Как в кинофильме, мы стоим у клёна.
Головушка к головушке склонёна:
Борис — Алёна.

Но мне пора, зовёт меня Витюра.
Завёрнута в бумагу арматура.
Мы исчезаем, лёгкие как тени,
в цветах сирени.

.....

Будь, прошлое, отныне поправимо!
Да станет Виктор русским генералом,
да не тусуется у магазина
запойным малым.

А ты, Алёна, жди милого друга,
он не закончит университета,
ему ты будешь верная супруга.
Поклон за это

тебе земной. Гуляя по Парижу,
я, как глаза закрою, сразу вижу
все наши приусадебные прозы
сквозь смех сквозь слёзы.

Но прошлое, оно непоправимо.
Вы все остались, я проехал мимо —
с сигаркой, в брочке, еле уловимо
плыл запах дыма.

1998

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ А. ЛЕОНТЬЕВУ В ГОРОД ВОЛГОГРАД, ДАБЫ ОН СИЕ НА МУЗЫКУ ПОЛОЖИЛ И ИСПОЛНЯЛ НА СКУКЕ ПОД ГИТАРУ

В бананово-лимонном Петрограде...
Александр Леонтьев

В осеннем пустом Ленинграде, в каком-нибудь мрачном году, два бога, при полном параде, сойдёмся у всех на виду. В ларьке на любой остановке на деньги двух честных зарплат возьмём три заморских литровки, окажется — злой суррогат. Заката на розовом фоне, как статуи вдруг побледнев, откинем мятежные кони, едва на скамейку присев.

Когда же опустится вечер и кепку с моей головы сорвёт возмутительный ветер с холодной и чёрной Невы, — очнувшись, друзья и поэты, увидим, болея башкой, струй недвусмысленной Леты и сумрачный лес за рекой.

Тогда со слезами во взоре к нам выступят тени из тьмы:

— Да здравствуют Саша и Боря, сии золотые умы. Вот водка и свежее сало, конфеты и лучший коньяк. Как будто вам этого мало? Вам девушек надо никак?

Менты, очищая газоны от бомжей, два трупа найдут. Поплачут прекрасные жёны. И хачиков в дом приведут. И сразу же Гоша и Гиви устроят такой самосуд: бесценные наши архивы в сердцах на помойку снесут.

А мы, наступая на брюки и крылья с трудом волоча, всей шоблой пойдём по округе, по матери громко крича.

1998



Ты бил реального чечена,
реально в воздухе летал,
а в школе, что ни перемена,
шпане монеты отдавал.

Тебя реально не любили,
приятель, школьные плуты.

Скажи, когда тебя подбили
и после, когда умер ты,
когда душа твоя взлетела
к неоспоримым высотам,
ответь, братишка, наше дело
за что и как замяли там?

1998



Давай, стучи, моя машинка,
неси, старуха, всякий вздор,
о нашем прошлом без запинки
не умолкая тараторь.

Колись давай, моя подруга,
тебе, пожалуй, сотня лет,
прошла через какие руки,
чей украшала кабинет?

Торговца, сыщика, чекиста?
Ведь очень даже может быть,
отнюдь не всё с тобою чисто
и страшных пятен не отмыть.

Покуда литеры стучали,
каретка сонная плыла,
в полупустом полуподвале
вершились тёмные дела.

Тень на стене чернее сажи
росла и уменьшалась вновь,
не перешагивая даже
через запёкшуюся кровь.

И шла по мраморному маршу
под освещением в тыщу ватт
заплаканная секретарша,
ломая горький шоколад.

1998



Я пройду, как по Дублину Джойс,
сквозь косые дожди проливные
приблатнённого города, сквозь
все его тараканьи пивные.

Чего было, того уже нет,
и поэтому очень печально, —
написал бы наивный поэт, —
у меня получилось случайно.

Подвозили наркотик к пяти,
а потом до утра танцевали,
и кенту с портаком «ЛЕБЕДИ»*
неотложку в ночи вызывали.

А теперь кто дантист, кто говно
и владелец нескромного клуба.
Идиоты. А мне всё равно.
Обнимаю, целую вас в губы.

Да иду, как по Дублину Джойс,
дым табачный вдыхая до боли.
Here I am not loved for my voice,
I am loved for my existence only.

1998

* ЛЕБЕДИ (татуировка) — любить её буду, если даже изменит
(прим. автора).



Я улыбнусь, махну рукой
подобно Юрию Гагарину,
со лба похмельную испарину
сотру и двину по кривой.

Винты свистят, мотор ревёт,
я выхожу на взлёт задворками,
убойными тремя семёрками
заряжен чудо-пулемёт.

Я в штопор, словно идиот,
зайду, но выхожу из штопора,
крыло пробитое заштопано,
пускаюсь заново в полёт.

Пускаясь заново в полёт,
петлю закладываю мёртвую,
за первой сразу пью четвёртую,
поскольку знаю наперёд:

в невероятный чёрный день,
с хвоста подбит огромным ангелом,
я полыхну зелёным факелом
и рухну в синюю сирень.

В завешанный штанами двор
я выползу из «кукурузника»...
Из шлемофона хлещет музыка,
и слёзы застилают взор.

1998



Вот здесь я жил давным-давно — смотрел кино, пинал говно и пьяный выходил в окно. В окошко пьяный выходил, буровил, матом говорил и нравился себе, и жил. Жил-был и нравился себе с окурком «БАМа» на губе.

И очень мне не по себе, с тех пор как превратился в дым, а также скрипом стал дверным, чекушкой, спрятанной за томом Пастернака, нет, — не то.

Сиротством, жалостью, тоской, не мýзыкой, но музыкóй, звездой полночного окна, отпавшей литерою «а», запавшей клавишею «б»:

Оркестр играет и труе — хоронят Петю, он де ил. Витюр хмуро рскурил окурок, стрый ловелс, стоит и плчет дядя Стс. И те, кого я сочинил, плюс эти, кто взпрвду жил, и этот двор, и этот дом летят н фоне голуом, летят неведомо куд — кр сивые к к никогд .

1998



Не вставай, я сам его укрою,
спи, пока осенняя звезда
светит над твоею головою
и гудят сырые провода.

Звоном тишину сопровождают,
но стоит такая тишина,
словно где-то чётко понимают,
будто чья-то участь решена.

Этот звон растягивая, снова
стягивая, можно разглядеть
музыку, забыться, вставить слово,
про себя печальное напеть.

Про звезду осеннюю, дорогу,
синие пустые небеса,
про цыганку на пути к острогу,
про чужие чёрные глаза.

И глаза закрытые Артёма
видят сон о том, что навсегда
я пришёл и не уйду из дома...
И горит осенняя звезда.

1998



За Обвою — Кама, за Камою — Волга,
по небу и горю дорога сквозная.
Как дурень, стою на краю, да и только:
не знаю, как быть, и что делать — не знаю.

Над речкой с татарским названием Обва
два месяца жил я, а может быть, дольше,
не ради того, чтобы жизнь мою снова
начать, чтоб былое достойно продолжить.

Гроза шуровала в том месте, где с Камой
сливается Обва, а далее — Волга.
Как Пушкин, курил у плетня с мужиками,
и было мне так безотраднo и горько.

А там, на оставленном мной перевале,
как в песне дешёвой, что душу саднила,
жена уходила, друзья предавали,
друзья предавали, жена уходила.

И позднею ночью на тощей кровати
я думал о том, что кончается лето,
что я понимаю, что не виноваты
ни те, ни другие, что песенка спета.

Светало. Гремели КАМАЗы и ЗИЛы.
Тянулись гружённые гравием баржи.
Сентябрь начинался, слегка моросило.
Берёзы и ели стояли на страже,

берёзы и ели в могильном покое.
И я принимаю, хотя без восторга,
из всех измерений печали — любое.
За Обвою — Кама, за Камою — Волга.

1998



Жизнь — падла в лиловом мундире,
гуляет светло и легко.
Но есть одиночество в мире
и гибель в дырявом трико...

Больница. В стакане брусника.
Обычная осень в окне.
И вдруг: — Я судил Амальрика,
да вы не поверите мне. —

Проветривается палата.
Листва залетает в окно.
Приходят с обеда ребята,
садутся играть в домино...

Закрой свои зоркие очи.
Соседей от бредней уволь.
Разбудит тебя среди ночи
и вновь убаюкает боль.

Погиб за границей Амальрик.
При чём тут вообще Амальрик?
Здесь плотник, поэт и пожарник...
Когда бы ты видел, старик,

с какой беззащитной любовью
тебя обступили, когда,
что тлела в твоём изголовье,
в окошке погасла звезда...

Стой, смерть, безупречно на стрёме.
Будь, осень, всегда начеку.
Всё тлен и безумие, кроме —
я вычеркнул эту строку.

1998

К САШКЕ

Скажи-ка, эй, ты стал поэтом?
Ну бабам голову вскружил.
Ну Веневитинова, это,
забыл как звали, пережил.

Ну пару книжек тиснул сдуру.
Давай умрём по счёту «три».
Сижу без курева, Сашура,
жду в вытрезвителе зари.

Казалось что? Красивым взмахом
пера начертишь вещей знак,
и из того, что было прахом,
проклюнется священный знак.

Вот так-то, Саша. Мент в окошке
маячит, заслоняя свет.
Постылый прах в моей ладошке.
А злака не было и нет.

1998



Когда менты мне репу расшибут,
лишив меня и разума и чести
за хмель, за матерок, за то, что тут
**ЗДЕСЬ САТЬ НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ
СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!**

Тогда, наверно, вырвется вовне,
потянется по сумрачным кварталам
былое или сшившееся мне —
затейливым и тихим карнавалом.
Наташа. Саша. Лёша. Алексей.
Пьеро, сложивший лодочкой ладони.
Шарманщик в окруженье голубей.
Русалки. Гномы. Ангелы и кони.
Училки. Подхалимы. Подлецы.
Два прапорщика из военкомата.
Киношные смешные мертвецы,
исчадье пластилинового ада.
Денис Давыдов. Батюшков смешной.
Некрасов желчный.
Вяземский усталый.
Весталка, что склонялась надо мной,
и фея, что мой дом оберегала.
И проч., и проч., и проч., и проч., и проч.
Я сам не знаю то, что знает память.
Идите к чёрту, удаляйтесь в ночь.
От силы две строфы могу добавить.
Три женщины. Три школьницы. Одна
с косичками, другая в платье строгом,
закрашена у третьей седина.

За всех троих отвечу перед Богом.
Мы умерли. Озвучит сей предмет
музыкою, что мной была любима,
за три рубля запроданный кларнет
безвестного Синявина Вадима.

1998

БЕЖЕНЦЫ

В парке отдыха ярко
за деревьями светит закат.
Так глядят они жалко
и всё вырвать из рук норовят

кока-колу с хот-догом,
чипсы с гамбургером. И так,
все мы ходим под Богом —
кто вразвалочку, кто кое-как

шкандыбают. Подайте,
поднесите ладони к губам.
Вот за то и подайте,
что они не подали бы вам.

Тихо, только губами,
сильно путаясь, «Refugee blues»
повторяю. С годами
я добрей, ибо смерти боюсь.

Повторяю: добрее
я с годами и смерти боюсь.
Я пройду по аллее
до конца, а потом оглянусь.

Пусть осины, берёзы,
это небо и этот закат
расплывутся сквозь слёзы.
А потом не сплывутся назад.

1998



С плоской «Примой» в зубах: кому в бровь, кому в пах,
сквозь сиянье вгоняя во тьму.

Только я со шпанюю ходил в дружбамах —
до сих пор не пойму почему.

Я у Жени спрошу, я поеду к нему,
он влиятельным жуликом стал.

Через солнце Анталии вышел во тьму,
в небеса на «Рено» ускакал.

И ответит мне Женя, берёзы росток,
уронив на ладошку листок:

поменяйся тогда мы местами, браток,
ты со мною бы не был жесток.

Всем вручили по жизни, а нам — по судьбе,
словно сразу аванс и расчёт.

Мы с тобой прокатились на А и на Б,
посмотрели, кто первым умрёт.

Так ответит мне Женя, а я улыбнусь
и смахну с подбородка слезу.

На такси до родимых трущоб доберусь,
попрошу, чтобы ждали внизу.

Из подъезда немытого гляну на двор,
у окна на минуту замру.

Что-то слишком расширился мой кругозор,
а когда-то был равен двору.

Расплывайся в слезах и в бесформенный сплав
превращайся — любви и тоски.

Мне на плечи бросается век-волкодав,
я сжимаю от боли виски.

Приходите из тюрем, вставайте с могил,
возвращайтесь из наглой Москвы.

Я затем вас так крепко любил и любил,
чтобы заново ожили вы.
Чтобы каждый остался оправдан и чист,
чтобы ангелом сделался гад.
Под окном, как архангел, сигналит таксист.
Мне пора возвращаться назад.

1998



Не забухал, а первый раз напился
и загулял —
под «Скорпионз» к её щеке склонился,
поцеловал.

Чего я ждал? Пощёчины с размаху
да по виску,
и на её плечо, как бы на плаху,
поклал башку.

Но понял вдруг, трезвея, цепenea:
жизнь вообще
и в частности, она меня умнее.
А что ещё?

А то ещё, что, вопреки злословью,
она проста.
И если, пьян, с последнею любовью
к щеке уста

прижал и всё, и взял рукою руку, —
она поймёт.
И, предвкушая вечную разлуку,
не оттолкнёт.

1998



Разломаю сигареты,
хмуру трубочку набью —
как там русские поэты
машут шашками в бою?

Вот из града Петрограда
мне приходит телеграф.
Восклицаю: «О, досада!»,
в клочья ленту разорвав.

Чтоб на месте разобраться,
кто зачинщик и когда,
да разжаловать засранца
в рядовые навсегда,

(на сукна зелёном фоне
орденов жемчужный ряд),
в бронированном вагоне
еду в город Петроград.

Только нервы пересилю,
вновь хватаюсь за виски.
Если б тиф! «Педерастия
косит гвардии полки».

1998



От скуки-суки, не со страху
подняться разом над собой
и, до пупа рванув рубаху,
пнуть дверь ногой.

Валяй, веди во чисто поле,
но там не сразу уकोкошь,
чтоб въехал, мучаясь от боли,
что смерть не ложь.

От страха чтобы задышаться,
вполне от ужаса дрожать,
и — никого, с кем попрощаться,
кого обнять.

И умолять тебя о смерти,
и не кичиться, что герой.
Да обернётся милосердьем
твой залп второй.

1998



Мотивы, знакомые с детства,
про алое пламя зари,
про гибель, про цели и средства,
про Родину, чёрт побери,

опять выползают на сушу,
маячат в трамвайном окне.
Спаси мою бедную душу
и память оставь обо мне.

Чтоб жили по вечному праву
все те, кто для жизни рождён,
вали меня навзничь в канаву,
омой мое сердце дождём.

Так зелено и бестолково,
но так хорошо, твою мать,
как будто последнее слово
мне сволочи дали сказать.

1998



Флаги красн., скамейки — синие.
Среди говора свердловского
пили пиво в парке имени
Маяковского.

Где качели с каруселями,
мотодромы с автодромами —
мы на корточки присели, мы
любовались панорамой.

Хорошо живёт провинция,
четырьмя горит закатами.
Прут в обнимку с выпускницами
ардаки с маратами.

Времена большие, прочные.
Только чей-то локотчек
пошатнул часы песочные.
Эх, посыпался песочек!

Мотодромы с автодромами
закрутились-завертелись.
На десятом обороте
к чёрту втулки разлетелись.

Ты меня люби, красавица,
скоро время вовсе кончится,
и уже сегодня, кажется,
жить не хочется.

1998

МАЛЬЧИКИ

По локти руки за чертой разлуки,
и расцветают яблони весной.
«Весны» монофонические звуки,
тревожный всхлип мелодии блатной.

Составив парты, мы играем в карты.
Серёга Л. мочится из окна.
И так всё хорошо, как будто завтра,
как в старом фильме, началась война.

1998



Спит моё детство, положило ручку,
ах, да под щёчку.

А я ищущу фломастер, авторучку —
поставить точку

под повестью, романом и поэмой
или сонетом.

Зачем твой сон не стал моею темой?
Там за рассветом

идёт рассвет. И бабочки летают.
Они летают,
и ни хрена они не понимают,
что умирают.

Возможно, впрочем, ты уже допетрил,
лизнув губою
травинку, — с ними музыка и ветер.
А смерть — с тобою.

Тогда твой сон трагически окрашен
таким предметом:
ты навсегда бессилён, но бесстрашен.
С сачком при этом.

1998



Ни разу не заглянула ни
в одну мою тетрадь.
Тебе уже вставать, а мне
пора ложиться спать.

А то б взяла стишок и так
сказала мне: дурак,
тут что-то очень Пастернак,
фигня, короче, мрак.

А я из всех удач и бед
за то тебя любил,
что полюбил в пятнадцать лет
и невзначай отбил

у Гриши Штопорова, у
комсорга школы, блин.
Я, представляющий шпану,
спортсмен-полудебил.

Зачем тогда он не припёр
меня к стене, мой свет?
Он точно знал, что я боксёр.
А я поэт, поэт.

1998



В безответственные семнадцать,
только приняли в батальон,
громко рывкаешь: рад стараться!
Смотрит пристально Аполлон:

ну-ка, ты, забобень хореем.
Парни, где тут у вас нужник?
Всё умеем да разумеем,
слышим музыку каждый миг.

Музыкальной неразберихой
било фраера по ушам.
Эта музыка стала тихой,
тихой-тихой та-ра-ра-рам.

Спотыкаюсь на ровном месте,
беспокоен и тороплив:
мы с тобою погибнем вместе,
я держусь за простой мотив.

Это скрипочка злая-злая
на плече нарыдалась всласть.
Это частная жизнь простая
с вечной музыкой обнялась.

Это в частности, ну а в целом —
оказалось, всерьез игра.
Было синим, а стало белым,
белым-белым та-ра-ра-ра.

1998

СТИХИ УКЛОНИСТА Б. РЫЖЕГО

...поехал бы в Питер...

О.Д.

Когда бы заложить в ломбард рубин заката,
всю бирюзу небес, всё золото берёз —
в два счёта подкупить свиней с военкомата,
порядком забуреть, расслабиться всерьёз.

Податься в Петербург, где, загуляв с кентами,
вдруг взять себя в кулак и, резко бросив пить,
берёзы выкупить, с закатом, с облаками,
сдружиться с музами, поэму сочинить.

1998

ТОЛСТОЙ ПЛЮС

Вы помните, как удивлялся Пьер, предсмертные выслушивая речи обидчика? Перевернулся мир мгновенно в голове его. Короче, он думал умилённо: как он мил... невероятно... как это... жестоко... Тот, умирая, с Богом говорил словами, сохранёнными для Бога. И это были нежности слова, слова любви, прощения, прощанья.

Не дай Вам бог произнести заранее, из скуки, эти важные слова. Перед толпой — особенно. Он (Он) ревнив, конечно, но не в этом дело. Открывшимся — от рифмы Вам поклон — сочувствуют — тут пропуск — слишком смело.

Берёте роль, разучиваете. Сначала — ощущение неволи. Чужой пиджак топорщится в локте. Привыкните. Чтоб быть на высоте, не выходите за пределы роли,

бессмыслицы, таинственного ряда,
как страшный элемент, входящий в ряд
с периодом полураспада
15000000 лет подряд.

1998, январь



Я был учеником восьмого класса —
С товарищами, на газон присев,
Мы выпили. Магнитофон валялся
в кустарнике, пел Вилли Токарев.

Про голых баб, про жуликов, про что бы
ни пел, его любил и одобрял
достойный слушатель. Он пел про небоскрёбы,
когда я отшатнулся и сблевал.

Быть, быть как все — желанье Пастернака —
моей душой, которая чиста
была, владело полностью, однако
мне боком вышла чистая мечта.

Смотри, они жалеют и смеются.
Не дрейфь, будь важен и нетороплив.
Всё повторится — други не вернутся,
но возвратится песенка, мотив.

А — смысл не тот, не те слова, вернее
не та любовь, разлука и печаль.
В пустом подъезде сядь на батарею,
согрей ладони — им тебя не жаль.

Ты выкарабкался, сам научился
тому-сему, плюс подошёл к вещам
особенным, ушёл и возвратился,
и никогда не плачешь по ночам.

1998

ИЗ ФОТОАЛЬБОМА

Тайга — по центру, Кама — с краю,
с другого края, пьяный в дым,
с разбитой харей, у сарая
стою с Григорием Данским.

Под цифрой 98
слова: деревня Сартасы.
Мы много пили в эту осень
«Агдама», света и росы.

Убита пятая бутылка.
Роится над башками гнус.
Заброшенная лесопилка.
Почти что новый «Беларусь».

А ну, давай-ка, ай-люли,
в кабину лезь и не юли,
рули вдоль склона неуклонно,
до неба синего рули.

Затарахтел. Зафыркал смрадно.
Фонтаном грязь из-под колёс.
И так вольготно и отратно,
что деться некуда от слёз.

Как будто кончено сраженье,
и мы, прожжённые, летим,
прорвавшись через окруженье,
к своим.

Авария. Башка разбита.
Но фотографию найду
и повторяю, как молитву,
такую вот белиберду:

душа моя, огнём и дымом,
путём небесно-голубым,
любимая, лети к любимым
своим.

1998



Восьмидесятые, усадые,
хвостатые и полосатые.
Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.

Фигово жили, словно не были.
Пожалуй, так оно, однако
гляди сюда, какими лейблами
расписана моя телага.

На спину «Levi's» пришпандорено,
«West Island» на рукав пришилино.
И трёхрублевка, что надорвана,
получена с Сереги Жилина.

13 лет. Стою на ринге.
Загар бронёю на узбеке.
Я проиграю в поединке,
но выиграю в дискотеке.

Пойду в общагу ПТУ,
гусар, повеса из повес.
Меня обуют на мосту
три ухаля из ППС.

И я услышу поутру,
очнувшись головой на свае:
трамваи едут по нутру,
под мостом дребезжат трамваи.

Трамваи дребезжат бесплатные.
Летят снежинки аккуратные.

1998



Мой герой ускользает во тьму.
Вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его, потому
что поэту не в кайф без героя.

Я его сочинил от уста-
лости, что ли, ещё от желанья
быть услышанным, что ли, чита-
телю в кайф, грехам в оправданье.

Он бездельничал, «Русскую» пил,
он шмонался по паркам туманным.
Я за чтением зренье садил
да коверкал язык иностранным.

Мне бы как-нибудь дошкандыбать
до посмертной серебряной ренты,
а ему, дармоеду, плевать
на аплодисменты.

Это, — бей его, ребя! Душа
без посредников сможет отныне
кое с кем объяснить в пустыне
лишь посредством карандаша.

Воротник поднимаю пальто,
закурив предварительно: время
твоё вышло. Мочи его, ребя,
он — никто.

Синий луч с зеленцой по краям
преломляют кирпичные стены.
Слышу рёв милицейской сирены,
нарезая по пустырям.

1998



Что махновцы, вошли красиво
в незатейливый город N.
По трактирам хлебали пиво
да актёрок несли со сцен.

Чем оправдывалось всё это?
Тем оправдывалось, что есть
за душой полтора сонета,
сумасшедшинка, искра, спесь.

Обыватели, эпигоны,
марш в унылые конуры!
Пластилиновые погоны,
револьверы из фанеры.

Вы, любители истуканов,
прячьтесь дома по вечерам.
Мы гуляем, палим с наганов
да по газовым фонарям.

Чем оправдывается это?
Тем, что завтра на смертный бой
выйдем трезвые до рассвета,
не вернётся никто домой.

Други-недруги. Шило-мыло.
Расплескался по ветру флаг.
А всегда только так и было.
И вовеки пребудет так:

вы — стоящие на балконе
жизни — умники, дураки.
Мы — восхода на алом фоне
исчезающие полки.

1998

ПЕТЕРБУРГСКИМ КОРЕШАМ

Дождь в Нижнем Тагиле.
Лучше лежать в могиле.
Лучше б меня убили
дядя в рыжем плаще
с дядею в серой робе.
Лучше гнить в гробе.
Места добру-злобе
там нет вообще.

Жил-был школьник.
Типа чести невольник.
Сочинил дольник:
я вас любил.
И пошло-поехало.
А куда приехало?
Никуда не приехало.
Дождь. Нижний Тагил.

От порога до Бога
пусто и одиноко.
Не шумит дорога.
Не горят фонари.
Ребром встала монета.
Моя песенка спета.
Не вышло из меня поэта,
чёрт побери!

1998



Я музу юную, бывало,
встречал в подлунной стороне.
Она на дудочке играла,
я слушал, стоя в стороне.

Но вдруг милашку окружали,
как я, такие же юнцы.
И, грянув хором, заглушали
мотив прелестный, подлецы.

И думал я: небесный боже,
узрей сие, помилуй мя,
ведь мне тобой дарован тоже
осколок твоего огня,

дай поорать!

1998

**ДОРОГОМУ АЛЕКСАНДРУ.
ИЗ СЕЛА БОБРИЩЕВО — РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ**

Весьма поэт, изрядный критик, картёжник, дуэлянт, политик, тебе я отвечаю вновь: пожары вычурной Варшавы, низкопоклонной шляхты кровь — сперва СИМВОЛЫ НАШЕЙ СЛАВЫ, потом — убитая любовь, униженные генералы и осквернённые подвалы: где пили шляхтичи вино, там ссали русские капралы! Хотелось бы помягче, но, увы, не о любви кино.

О славе!

Горько и невкусно. Поручик мой, мне стало грустно, когда с обратной стороны мне вышло

лицезреть искусство.

Тем менее на мне вины, чем более подонков в штабе.

Стреляться? Почему бы нет! Он прострелил мой эполет, стреляя первым. Я внакладе. «Борис Борисыч, пистолет ваш будет, видимо, без пули...» — вечер мне ангелы шепнули. Вместо того чтоб поменять, я попросту не стал стрелять. Чтоб тупо не чихать от дыма.

Мой друг, поэзия делима, как Польша. Жёсткое кино.

Но всё, что мягкое, — говно.

1998



О. Дозморову

Не жалею о прошлом, будь что было,
даже если дело было дрянь.

Штора с чем-то вроде носорога,
на окне обильная герань.

Вспоминаю: с вечера поддали,
вынули гвоздики из петлиц,
в городе Перми заночевали
у филологических девиц.

На комоде плюшевый мишутка,
стонет холодильник «Бирюса».
Потому так скверно и так жутко,
что банальней выдумать нельзя.

Друг мой милый, я хочу заранее
объявить: однажды я умру
на чужом продавленном диване,
головой болея поутру.

Если правда так оно и выйдет,
жаль, что изо всей семьи земной
только эта дура и увидит
светлое сиянье надо мной.

1998

АВТОМОБИЛЬ

В ночи, в чужом автомобиле,
почти бессмертен и крылат,
в каком-то допотопном стиле
сизжу, откинувшись назад.

С надменной лёгкостью водитель
передвигает свой рычаг.
И желтоватый прояситель
кусками оживляет мрак.

Встаёт вселенная из мрака —
мир, что построен и забыт.
Мелькнёт какой-нибудь бродяга
и снова в вечность улетит.

Почти летя, скользя по краю
в невразумительную даль,
я вспоминаю, вспоминаю,
и мне становится так жаль.

Я вспоминаю чьи-то лица,
всё, что легко умел забыть,
над чем не выпало склониться,
кого не вышло полюбить.

И я жалею, я жалею,
что раньше видел только дым,
что не сумею, не сумею
вернуться новым и другим.

В ночи, в чужом автомобиле
я понимаю навсегда,
что, может, только те и были,
в кого не верил никогда.

А что? Им тоже неизвестно,
куда шофёр меня завёз.
Когда-нибудь заглянут в бездну
глазами, светлыми от слёз.

1998



За стеной — дребезжанье гитары,
лётся песнь, подпевают певцу
захмелевшие здорово пары —
да и впрямь, ночь подходит к концу.

Представляю себе идиота,
оптимиста, любовника: так
отчего же не спеть, коль охота?
Вот и лупит по струнам дурак.

Эта песня, он сам её разве
сочинил, разве слышал в кино,
ибо я ничего безобразней
этой песни не слыхивал. Но —

за окном тополиные кроны
шелестят, подпевают ему.
Лает пёс. Раскричались вороны.
Воет ветер. И дальше, во тьму —

всё поют, удлиняются лица.
Побренчи же ещё, побренчи.
Дребезжат самосвалы. Убийцу
повели на расстрел палачи.

Убаюкана музыкой страшной,
что ты хочешь увидеть во сне?
Ты уснула, а в комнате нашей
пустота отразилась в окне.

Смерть на цыпочках ходит за мною,
окровавленный бант теребя.
И рыдает за страшной стеною
тот, кому я оставлю тебя.

1998



Оркестр играет на трубе.
И ты идёшь почти вслепую
от пункта А до пункта Б
под мрачную и духовую.

Тюрьма стеной окружена,
и гражданам свободной воли
оттуда музыка слышна.
И ты поморщился от боли.

А ты по холоду идёшь
в пальто осеннем нараспашку.
Ты папиросу достаёшь
и хмуро делаешь затяжку.

Но снова ухает труба,
всё рассыпается на части
от пункта Б до пункта А.
И ты поморщился от счастья.

Как будто только что убёг,
зарезал суку в коридоре.
Вэвэшник выстрелил в висок,
и ты лежишь на косогоре.

И путь-дорога далека.
И пахнет прелою листвою.
И пролетают облака
над непокрытой головою.

1998



Приобретут всеевропейский лоск
слова трансзиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.

Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, Лондоне промозглом,
мой жалкий прах совету зарыть
на безымянном кладбище свердловском.

Не в плане не лишённой красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому что там мои кенты,
их профили на мраморе и розы.

На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они запнулись с медью в черепах
как первые солдаты перестройки.

Пусть Вторчермет гудит своей трубой,
Пластполимер пускай свистит протяжно.
А женщина, что не была со мной,
альбом откроет и закурит важно.

Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты.

1998



«Мои друзья не верили в меня...»
Сыны Пластполимера, Вторчермета,
у каждого из них была статья.
Я песни пел, не выставляя это

как нечто. Океан бурлил, бурлил.
Пришкандыбал татарин-участковый:
так заруби себе. Я зарубил.
Мне ведом, Боже, твой расклад херовый.

На купоросных голубых снегах,
закончившие ШРМ на тройки,
они запнулись с медью в черепах,
как первые солдаты перестройки.

А я остался, жалкий Арион,
на брег туманный вынесен волною.
Пою, пою, да петь мне не резон.
Шумит, шумит пучина подо мною.

1998



Я скажу тебе, что хотел,
но сперва накачу сто грамм.
Так я в юности разумел
вне учебников и программ:
Маяковский — вот это да,
с оговорками — Пастернак,
остальное белиберда.
По сей день разумею так.

Отыграла музыка вся.
Замолчали ребята все.
Сочинить поэму нельзя —
неприлично и вообще.
Не со зла говорю, не зло,
о себе говорю тебе.
Что должно было быть, прошло
с папироскою на губе.

Ну а ежели не прошло?
Ну а вдруг начнётся опять?
Если нам с тобой повезло,
то случится такое, бя,
что затмит восход и закат.
Ты молчи да врубайся, брат.
Только рюмочки полетят.
Эх да рюмочки полетят!

1998



Двенадцать лет. Штаны вельвет. Серёга Жилин слез с забора и, сквернословя на чём свет, сказал событие. Ах, Лора. Приехала. Цвела сирень. В лицо черёмуха дышала. И дольше века длился день. Ах, Лора, ты существовала в башке моей давным-давно. Какое сладкое мученье играть в футбол, ходить в кино, но всюду чувствовать движение иных, неведомых планет, они столкнулись волей бога: с забора Жилин слез Серёга, и ты приехала, мой свет.

Кинотеатр: «Пираты двадцатого века». «Буратино» с «Дюшесом». Местная братва у «Соки-Воды» магазина. А вот и я в трико среди ребят — Семёныч, Лёха, Дюха — рукой с наколкой «ЛЕБЕДИ» вяло почёсываю брюхо. Мне сорок с лихуём. Обилен, ворс на груди моей растёт. А вот Сергей Петрович Жилин под ручку с Лорой идёт — начальник ЖКО, к примеру, и музработник в детсаду.

Когда мы с Лорой шли по скверу и целовались на ходу, явилось мне виденье это, а через три-четыре дня — гусара, мальчика, поэта — ты, Лора, бросила меня.

Прощай же, детство. То, что было, не повторится никогда. «Нева», что вставлена в перила, не более моя беда. Сперва мычишь: кто эта сука? Но ясноокая печаль сменяет злость, бинтует руку. И ничего уже не жаль.

Так над коробкою трубоч с надменной внешностью бродяги, с трубою утонув во мраке, трубит для осени и звёзд. И выпуклый бродячий пёс ему бездарно подвывает. И дождь мелодию ломает.

1998

ПУТЕШЕСТВИЕ

Изрядная река вплыла в окно вагона.
Щекою прислонясь к вагонному окну,
я думал, как ко мне фортуна благосклонна:
и заплачу за всех, и некий дар верну.

Приехали. Поддав, сонеты прочитали,
сплошную похабель оставив на потом.
На пароходе в ночь отчалить полагали,
но пригласили нас в какой-то важный дом.

Там были девочки: Маруся, Роза, Рая.
Им тридцать с гаком, все филологи оне.
И чёрная река от края и до края
на фоне голубом в распахнутом окне.

Читали наизусть Виталия Кальпиди.
И Дозморов Олег мне говорил: «Борис,
тут водка и икра, Кальпиди так Кальпиди.
Увы, порочный вкус. Смотри, не матерись».

Да я не матерюсь. Белеют пароходы
на фоне голубом в распахнутом окне.
Олег, я ошалел от водки и свободы,
и истина твоя уже открылась мне.

За тридцать, ну и что. Кальпиди так Кальпиди.
Отменно жить: икра и водка. Только нет,
не дай тебе Господь загнуться в сей квартире,
где чтут подобный слог и всем за тридцать лет.

Под утро я проснусь и сквозь рваньё тумана,
тоску и тошноту, увижу за окном:
изрядная река, её название — Кама.
Белеет пароход на фоне голубом.

1998



...мною сочинённых. Вспоминал
Я также то, где я бывал...

Некрасов

Есть фотография такая
в моём альбоме: бард Петров
и я с бутылкою «Токая».
А в перспективе — ряд столов
с закуской чёрной, белой, красной.
Ликёры, водка, коньяки
стоят на скатерти атласной.
И, ходу мысли вопреки,
но всё-таки согласно плану
стихов — я не пишу их спьяну, —
висит картина на стене:
огромный Пушкин на коне
прёт рысью в план трансцендентальный.
Поэт хороший и опальный.

Усталый, нищий, гениальный,
однажды прибыл в город Псков
на конкурс юных мудаков-
версификаторов, нахальный
мальчишка двадцати двух лет.
Полупижон, полупоэт.
Шагнул в толпу из паровоза,
сух, как посредственная проза,
поймал такси и молвил так:
— Вези в Тригорское, земляк!

Подумать страшно, баксов штука, —
привет, засранец Вашингтон!
Татарин-спонсор жмёт мне руку.
Нефтяник, поднимает он
с колен российскую культуру.
И я, т. о., валяя дуру,
ни дать ни взять лауреат.
Ещё не пьян. Уже богат.

За проявленье вашей воли
вам суждено держать ответ.
Ба, ты всё та же, лес да поле!
Так начинается банкет,
и засыпает ваша совесть.
Честь? Это что ещё за новость!
Вы не из тех полукалек,
живущих в длительном подполье?
О, вы нормальный человек.
Вы слишком любите застолье.
Смеётесь, входите в азарт.
Петров, — орёте, — первый бард.
И обнимаетесь с Петровым.
И Пушкин, сидя на коне,
глядит милягой чернобровым,
таким простым домашним ге...

Стоп, фотография для прессы!
Аллея Керн. Я очень пьян.
Шарахаются поэтессы —
Нателлы, Стеллы и Агнессы.
Две трети пушкинских полян
озарены вечерним светом.
Типичный негр из МГУ

читает «Памятник». На этом,
пожалуй, завершить могу
рассказ ни капли не печальный.
Но пусть печален будет он:

я видел свет первоначальный,
был этим светом ослеплён.
Его я предал. Бей, покуда
ещё умею слышать боль,
или верни мне веру в чудо,
из всех контор меня уволь.

1998



Над могилами белое.
Я хочу повторить эту фразу —
над могилами белое,
голубое и синее сразу.

Тишина нагнетается
обоюдно — и сверху, и снизу.
И родство ощущается
неготовым к такому сюрпризу

нервным мальчиком маленьким —
всё он ходит и ходит за мною.
Объясни мне, мой маленький,
расскажи мне, с какой тишиною?

1998



Осколок света на востоке.
Дорога пройдена на треть.
Не убивай меня в дороге,
позволь мне дома умереть.

Не высылай за мной по шпалам,
горящим розовым огнём,
дегенерата с самопалом,
неврастеничку с лезвиём.

Не поселяй в мои плацкарты
нацмена с города Курган,
что упадает рылом в нарды,
освиновая от ста грамм.

Да будет дождь, да будет холод,
не будет золота в горсти,
дай мне войти в такой-то город,
такой-то улицей пройти.

Чуть постоять, втянуть ноздрями
под фонарём гнилую тьму.
Потом помойками, дворами —
дорога к дому моему.

И перед тем, как рухну в ноги,
заплачу, припаду к груди,
что пса какого, на пороге
прихлопни или пощади.

1998, дер. Сартасы



Июньский вечер. На балконе
уснуть, взглянув на небеса.
На бесконечно синем фоне
горит заката полоса.

А там — за этой полосой,
что к полуночи догорит, —
угадываемая мною
музыка некая звучит.

Гляжу туда и понимаю,
в какой надёжной пустоте
однажды буду и узнаю:
где проиграл, сфальшивил где.

1998



В полдень проснёшься, откроешь окно —
двадцать девятое светлое мая:
господи, в воздухе пыль золотая.
И ветераны стучат в домино.

Значит, по телеку кажут говно.
Дурочка Рая стоит у сарая,
и, матерщине её обучая,
ржут мои друзья, проснувшись давно.

Но в час пятнадцать начнётся кино,
двор опустеет, а дурочка Рая
станет на небо глядеть не моргая.

И почти сразу уходит на дно
памяти это подобие рая.
Синее небо от края до края.

1998



Дали водки, целовали,
обнимали, сбили с ног.
Провожая, не пускали,
подарили мне цветок.

Закурил и удалился
твёрдо, холодно, хотя,
уходя, остановился —
оглянуться, уходя.

О, как ярок свет в окошке
на десятом этаже.
Чьи-то губы и ладошки
на десятом этаже.

И пошёл — с тоскою ясной
в полуночном серебре —
в лабиринт — с гвоздикой красной —
сам чудовище себе.

1998

ЭЛЕГИЯ

Зимой под синими облаками
в санях идиотских дышу в ладони,
бормоча известное: «Эх вы, сани!
А кони, кони!»

Эх, за десять баксов к дому милой —
ну ты и придурок, скажет киса.
Будет ей что вспомнить над могилой
её Бориса.

Слева и справа — грустным планом
шестнадцатизэтажки. «А ну, парень,
погоняй лошадок!» — «А куда нам
спешить, барин?»

1998



Начинается снег, и навстречу движению снега
поднимается вверх — допотопное слово — душа.
Всё, — о жизни поэзии, о судьбе человека
больше думать не надо, присядь, закури не спеша.

Закурю, да на корточках, эдаким уркой отпетым,
я покуда живой, не нужна мне твоя болтовня.
А когда после смерти я стану прекрасным поэтом,
для эпитафии вот тебе строчки к статье про меня:

Снег идёт и пройдёт. И наполнится небо огнями.
Пусть на горы Урала опустятся эти огни.
Я прошёл по касательной, но не вразрез с небесами.
Принимай без снобизма — и песни и слёзы мои.

1998



Сколько можно, старик, умиляться острожной
балалаечной нотой с железнодорожной?
Нагловатая трусость в глазах татарвы.
Многokrатно всё это ещё мне приснится:
колокольчики чая, лицо проводницы,
недоверчивое к обращению на «Вы».

Прячет туфли под полку седой подполковник
да супруге подмигивает: уголовник!
для чего выпускают их из конуры?
Не дослушаю шёпота, выползу в тамбур.
На леса и поля надвигается траур.
Серебром в небесах расцветают миры.

Сколько жизней пропало с Москвы до Урала.
Не успею заметить в грязи самосвала,
залюбуюсь красавицей у фонаря
полустанка. Вдали полыхнут леспромхозы.
И подступят к гортани банальные слёзы,
в утешение новую рифму даря.

Это осень и слякоть, и хочется плакать,
но уже без желания в тёплую мягкость
одеяла уткнуться, без «стукнуться лбом».
А идти и идти никуда ниоткуда,
ождая то смеха, то гнева, то чуда.
Ну, а как? Ты не мальчик! Да я не о том —

спит штабной подполковник на новой шинели.
Прихватить, что ли, туфли его в самом деле?
Да в ларёк за поллитру толкнуть. Да пойти
и пойти по дороге своей тёмно-синей
под звёздами серебряными, по России,
документ о прописке сжимая в горсти.

1998



С трудом окончив вуз технический,
в НИИ каком-нибудь служить.
Мелькать в печати периодической,
но никому не говорить.

Зимою, вечерами мглистыми
пить анальгин, шипя «говно».
Но, исхудаив, перед дантистами
нарисоваться всё равно.

А по весне, когда акации
гурьбою станут расцветать,
от аллергической реакции
чихать, сморкаться и чихать.

В подъезде, как инстинкт советует,
пнуть кошку в ожиревший зад.
Смолчав и сплюнув где не следует,
заматериться невпопад.

И только раз — случайно, походя —
открыто поглядев вперёд,
услышать, как в груди шарахнулась
душа, которая умрёт.

1998



Мимо больницы, кладбища, тюрьмы
пойду-пойду по самому по краю.
Прикуривая, спичку поломаю
на фоне ослепительной зимы.

Вот Родина. Моя, моя, моя.
Учителя, чему вы нас учили —
вдолбили смерть, а это не вдолбили,
простейшие основы бытия.

Пройду больницу, кладбище, тюрьму,
припомню, сколько сдал металлолома.
Скажи мне, что на Родине — я дома.
На веру я слова твои приму.

Пройду ещё и загляну за край,
к уступу подойду как можно ближе.
Так подойди, не мучайся, иди же,
ступай смелей, my angel, don't you cry.

1998

ПАРОВОЗ

С зарплаты рубль — на мыльные шары,
на пластилин, на то, что сердцу мило.
Чего там только не было, всё было,
все сны — да-да — советской детворы.

А мне был мил огромный паровоз —
он стоил чирик — чёрный и блестящий.
Мне грезилось: почти что настоящий!
Звезда и молот украшали нос.

Летающий среди дыма и огня
под злыми грозовыми облаками,
он снился мне. Не трогайте руками!
Не трогаю, оно — не для меня.

Купили бы мне этот паровоз,
теперь я знаю, попроси, заплачь я,
и жизнь моя сложилась бы иначе,
но почему-то не хватало слёз.

Ну что ж, лети в серебряную даль,
вези других по золотой дороге.
Сидит безумный нищий на пороге
вокзала, продаёт свою печаль.

1998



Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза.
...Предельно траурна братва у труповоза.
Пол-облака висит над головами. Гроб
вытаскивают — блеск — и восстановлен лоб,
что в офисе ему разбили арматурой.
Стою, взволнованный пеонem и цезурой!

1998



Ничего не будет, только эта
песня на обветренных губах.
Утомлённый мыслями о мета-
физике и метафизиках,

я умру, а после я воскресну.
И назло моим учителям
очень разухабистую песню
сочиню, по скверам, по дворам

чтоб она, шальная, проносилась.
Танцевала, как хмельная блядь.
Чтобы время вспять повертилось
и былое началось опять.

Выхожу в телаге, всюду флаги.
Курыт пацаны у гаража.
И торчит из свёрнутой бумаги
рукоятка финского ножа.

Как известно, это лучше с песней.
По стране несётся тру-ля-ля.
Эта песня может быть чудесней,
мимоходом замечаю я.

1998



Нижневартовск, Тюмень и Сургут.
О.Д.

Не знавал я такого мороза,
хоть мороз во России жесток.
Дилер педи- и туберкулёза
из контейнера вынул сапог.

А, Б, В — ПТУ на задворках.
На задворках того ПТУ,
до пупа в idiotских наколках,
с корешами играет в лапту.
Научается двигать ушами.
Г, Д, Е — начинается суд.
Ж, З, И — разлучив с корешами,
в эшелоне под Ивдель везут.

Я и сам пошмонался изрядно
по задворкам отчизны родной.
Там не очень тепло и опрятно,
но страшней воротиться домой.

Он приходит к себе на квартиру,
мусора его гонят взашей.
Да подруга ушла к инженеру.
Да уряхали всех корешей.

Так чего ты томишься, бродяга,
или нас с тобой больше не ждут
лес дремучий, скрипучая драга,
Нижневартовск, Тюмень и Сургут?

Или нас, дорогой, не забыли —
обязали беречь и любить,
сторожить пустыри и могилы,
по помойкам говно ворошить?

Если так, отыщи ему пару.
Да шагай по великой зиме,
чтобы не помянуть стеклотару, —
тлен и прах в перемётной суме.
Заночуй этой ночью на тепло-
магистрали, приснится тебе,
что душа твоя в муках окрепла
и архангел гудит на трубе.
Серп и молот на выцветших флагах.
Солдатня приручила волчат.
Одичалые люди в телегах
по лесам топорами стучат.

1998

ПАМЯТИ ПОЛОНСКОГО

Олегу Дозморову

Мы здорово отстали от полка. Кавказ в доспехах, словно витязь. Шурует дождь. Вокруг ни огонька. Поручик Дозморов, держитесь! Так мой денщик загнулся, говоря: где наша, э, не пропадала. Так в добрый путь! За Бога и царя. За однодума-генерала. За грозный ямб. За трепетный пеон. За утончённую цезуру. За русский флаг. Однако что за тон? За ту коломенскую дуру. За Жомини, но всё-таки успех на всех приёмах и мазурках. За статский чин, поручик, и за всех блядей Москвы и Петербурга. За к непокою, мирному вполне, батального покоя примесь. За пакостей литературных — вне. Поручик Дозморов, держитесь! И будет день. И будет бивуак. В сухие кители одеты, мы трубочки раскурим натошак, вертя пижонские кисеты.

А если выйдет вовсе и не так? Кручу-верчу стихотвореньем. Боюсь, что вот накаркаю — дурак. Но следую за вдохновеньем. У ко́ней наших вырастут крыла. И воспарят они над бездной. Вот наша жизнь, которая была невероятной и чудесной. Свердловск, набитый ласковым воря́ем и туповатыми ментами. Гнилая Пермь. Исетский водоём. Нижне-Исетское с цветами.

Но разве не кружилась голова у девушек всего Урала, когда вот так беседовали два изящных армий генерала? С чиновников порой слетала спесь. И то отмечу, как иные авангардисты отдавали честь нам, как солдаты рядовые. Мне всё казалось: пустяки, игра. Но лишь к утру смыкаю веки. За окнами блистают до утра Кавказа снежные доспехи.

Два всадника с теньями на восток. Всё твёрже шаг.
Тропа всё круче. Я говорю, чеканя каждый слог: чёрт
побери, держись, поручик! Сокрыл туман последнюю
звезду. Из мрака бездна вырастает. Храпят гнедые,
чуя пустоту. И ветер ментики срывает. И сердце на-
бирает высоту.

1998

ПЕТЕРБУРГСКИМ ДРУЗЬЯМ

Мне цыганка нагадала гибель в городе чужом.
От чего — не рассказала, но спасибо и на том.
Не столь чётко, но, конечно, я в виду её имел
с той поры, как быть поэтом автономным захотел.
Афанасия оставил, Аполлона прочитал —
то «Флоренции», но лучше я «Венгерке» подражал.
Басаната, басаната... Но пора за каждый звук
расплатиться, так-то, друг, и — горька твоя расплата.
Гей, кремешным ацетоном отдающий суррогат.
За судьбу плати с процентом, да не жматься, так-то, брат.
А, «Цыганская венгерка»? Ну-ка, сбацай наизусть.
Вот, ребята демократы, вся любовь моя и грусть.
Закурить, опохмелившись, поглядеть на облака,
что летят над головою из далёка-далека,
в граде Екатеринбурге, с гордо поднятой главой,
за туманом различая бездну смерти роковой.

1998

◇ ◇ ◇

Осенние сумерки злые,
как десятилетье назад.
Аптечные стёкла сырые
фигуру твою исказят.

И прошлое как на ладони.
И листья засыпали сквер.
И мальчик стоит на балконе
и слушает музыку сфер.

И странное видит виденье,
и помнит, что будет потом:
с изящной стремительной тенью
шагает по улице гном.

С изящной стремительной тенью
шагает по улице гном.
Какое-то стихотворенье
бормочет уродливым ртом.

Бормочет, бормочет, бормочет,
бормочет и тает, как сон.
И с жизнью смириться не хочет,
и смерти не ведает он.

1998



Брега Невы. Портвейн с закускою
приносит как бы половой.
Сидим типа компаньей узкою
в одной пивной на Моховой.

На фоне килек и стаканов
сидим, не хотим встать со стулов.
Леонтьев, Пурин и Кирдянов.
Кирдянов — это Алимкулов.

А это я в костюме «Baltman»
сижу, в штиблетах «Salamander» —
красивый, молодой, усталый,
как трансконтинентальный лайнер.

Хотя трёхсложники не в моде,
что ни спроси, читаю сразу
то «Смерть коня», то «О погоде»,
то «На пути из-за Кавказа».

Усталый, молодой, красивый
сижу, затягиваюсь «Примой»,
окурком крохотным, что жжётся,
и это высшее пижонство.

Сижу и думаю о том,
как я люблю моих друзей.
И что, блин, может быть, потом
тут будет, видимо, музей.

Поставят музыку печальную.
В обновы чучела оденут.
На Моховой мемориальную
про нас табличку забобенят.

1998



Бог положительно выдаст, верней — продаст.
Свинья безусловно съест. Остальное — сказки.
Врубившийся в это стареющий педераст
сочиняет любовную лирику для отмазки.

Фигурируют женщины в лирике той.
Откровенные сцены автор строго нормирует.
Фигурирует так называемый всемирный запой.
Совесь, честь фигурируют.

Но Бог не дурак, он по-своему весельчак:
кому в глаз кистенём, кому сапогом меж лопаток,
кому арматурой по репе. А этому так:
обпугать его проволочками из рогаток!

1998

А. ПУРИНУ ПРИ ВРУЧЕНИИ БЮСТИКА АПОЛЛОНА И В СВЯЗИ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Сие примите благосклонно. Поставьте это на окне. Пускай Вам профиль Аполлона напоминает обо мне. Се бог. А я — еврея помесь с хохлом, но на берегах Невы не знали Вы, со мной знакомясь, с кем познакомитесь Вы. Во мне в молчании великом, особенно — когда за-льёт шары, за благородным ликом хохол жида по морде бьёт. Но...

Алексей Арнольдич Пурин, с любовью к грациям и к Вам сие из Греции в натуре для Вас я вёз по облакам.

1998, июль

ДРУЖЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ А. КИРДЯНОВУ

С берегов стремительной Исети
к берегам медлительной Невы
я вновь приеду на рассвете,
хотя меня не ждёте Вы.

Как в Екатеринбурге скучно,
а в Петербурге, боже мой,
сам Александр Семёныч Кушнер
меня зовёт к себе домой.

Сам Алексей Арнольдич Пурин
ко мне является с дружкой —
и сразу номер мой прокурен
голландским лучшим табаком.

Сам Александр Леонтьев, Шура,
с которым с детства я знаком,
во имя Феба и Амура
меня сведёт в публичный дом.

Меня считаете пропойцей
Вы, Алимкулов Алексей,
мне ничего не остаётся,
как покориться форме сей.

Да, у меня губа не дура
испить вина и вообще.
Всё прочее — литература.
Я вас любил, любовь... Ещё:

что б вы ни делали, красавцы,
как вам б страдать ни довелось,
рождённы после нас мерзавцы
на вас меня посмотрят сквозь.

1998

1999



Достаю из кармана упаковку дурмана,
из стакана пью дым за Романа, за своего
дружбана, за лимона-жигана пью настой-
ку из сна и тумана. Золотые картины:
зеленеют долины, синих гор голубеют
вершины, свет с востока, востока, от по-
рога до Бога пролегает дорога полого. На
поэзии русской появляется узкий очень
точный узорец восточный, растворяется
прежний — безнадежный, небрежный.
Ах, моя твоя помнит, мой нежный!

1999

КАЧЕЛИ

Был двор, а во дворе качели
позвякивали и скрипели.
С качелей прыгали в листву,
что дворники собрать успели.

Качающиеся гурьбой
взлетали сами над собой.
Я помню запах листьев прелых
и запах неба голубой.

Последняя неделя лета.
На нас глядят Алёна, Света.
Все прыгнули, а я не смог,
что очень плохо для поэта.

О, как досадно было, но
всё в памяти освещено
каким-то жалостливым светом.
Живи, другого не дано!

1999



Много было всего, музыки было много,
а в кинокассах билеты были почти всегда.
В красном трамвае хулиган с недотрогой
ехали в никуда.

Музыки стало мало
и пассажиров, ибо трамвай — в депо.
Вот мы и вышли в осень из кинозала
и зашагали по

длинной аллее жизни. Оно про лето
было кино, про счастье, не про беду.
В последнем ряду — пиво и сигареты.
Я никогда не сяду в первом ряду.

1999



На окошке на фоне заката
дрянь какая-то жёлтым цвела.
В общежитии жиркомбината
некто Н., кроме прочих, жила.

В полулёгком подпитье являясь,
я ей всякие розы дарил.
Раздеваясь, но не разуваясь,
несмешно о смешном говорил.

Трепетала надменная бровка,
матерок с алой губки слетал.
Говорить мне об этом неловко,
но я точно стихи ей читал.

Я читал ей о жизни поэта,
чётко к смерти поэта клоня.
И за это, за это, за это
эта Н. целовала меня.

Целовала меня и любила,
разливала по кружкам вино.
О печальном смешно говорила.
Михалкова ценила кино.

Выходил я один на дорогу,
чуть шатаюсь, мотор тормозил.
Мимо кладбища, цирка, острога
вёз меня молчаливый дебил.

И грустил я, спросив сигарету,
что, какая б любовь ни была,
я однажды сюда не приеду.
А она меня очень ждала.

1999



Поздно, поздно! Вот — по́ небу прожектора
загуляли, гуляет народ.

Это в клубе ночном, это фишка, игра,
будто год 43-й идёт.

Будто я от тебя под бомбёжкой пойду —
снег с землёю взлетят позади,

и, убитый, я в серую грязь упаду.

Ты меня разбуди, разбуди.

1999



По родительским пóльтам пройдясь,
нашкуляв на «Памир»
и «Памир» «для отца» покупая в газетном киоске,
я уже понимал, как затейлив и сказочен мир.
И когда бы поэты могли нарождаться в Свердловске,
я бы точно родился поэтом: завёл бы тетрадь,
стал бы книжки читать, а не грушу
метелить в спортзале.
Похоронные трубы не переставали играть —
постоянно в квартале над кем-то рыдали, рыдали.
Плыли дымы из труб, и летели кругом облака.
Длинноногие школьницы в школу бежали по лужам.
Описав бы всё это, с «Памиром» в пальцáх на века
в чёрной бронзе застыть над Свердловском,
да на фиг я нужен.
Ибо где те засранцы, чтоб походя салютовать —
к горсовету спиною, глазами ко мне и рассвету?
Остаётся не думать, как тот генерал,
а «Памир» надорвать
да исчезнуть к чертям, раскурив на ветру сигарету.

1999



Не во гневе, а так, между прочим,
наблюдавший средь белого дня,
когда в ватниках трое рабочих
подмолотами били меня.

И тогда не исполнивший в сквере,
где искал я забвенья в вине,
чтобы эти милиционеры
стали не наяву, а во сне.

Это ладно, всё это детали,
одного не прощу тебе, ты,
бля, молчал, когда девки бросали
и когда умирали цветы.

Не мешающий спиться, разбиться,
с голым торсом спуститься во мрак,
подвернувшийся под руку птица,
не хранитель мой ангел, а так.

Наблюдаешь за мною с сомнением,
ходишь рядом, урчишь у плеча,
клюв повесив, по лужам осенним
одинокие крылья влача.

1999



В наркологической больнице
с решёткой чёрной на окне
к стеклу прильнули наши лица,
в окне Россия, как во сне.

Тюремной песенкой отпета,
последним уркой прощена
в предсмертный час, за то что, это,
своим любимым не верна.

Россия, — то, что за пределом
тюрьмы, больницы, ЛТП.
Лежит Россия снегом белым
и не тоскует по тебе.

Рук не ломает и не плачет
с полуночи и до утра.
Всё это ничего не значит.
Отбой, ребята, спать пора!

1999



Л. Тиновской

Мальчик-еврей принимает из книжек на веру
гостеприимство и русской души широту,
видит берёзы с осинами, ходит по скверу
и христианства на сердце лелеет мечту.
Следуя заданной логике, к буйству и пьянству
твёрдой рукою себя приучает, и тут —
видит берёзу с осинкой в осеннем убранстве,
делает песню, и русские люди поют.
Что же касается мальчика, он исчезает.
А относительно пения — песня легко
то форму города некоего принимает,
то повисает над городом, как облако.

1999



В сырой наркологической тюрьме,
куда меня за глюки упекли,
мимо ребят, столпившихся во тьме,
дерюгу на каталке провезли
два ангела — Серёга и Андрей, — не
оглянувшись, типа все в делах,
в задроченных, но белых оперениях
со штемпелями на крылах.

Из-под дерюги — пара белых ног,
и синим-синим надпись на одной
была: как мало пройдено дорог...
И только шрам кислотный на другой
ноге — все в непонятках, как всегда:
что на второй написано ноге?

В окне горела синяя звезда,
в печальном зарешёченном окне.

Стоял вопрос, как говорят, ребром
и заострялся пару-тройку раз.
Единственный-один на весь дурдом
я знал на память продолженья фраз,
но я молчал, скрывался и таил,
и осторожно на сердце берёг —
что человек на небо уносил
и вообще — что значит человек.

1999



Похоронных оркестров не стало,
стало роскошью — с музыкой чтоб.
Ах, играла, играла, играла,
и лгала, и фальшивила — стоп.

Обязателен дядька из ЖЭКа —
шляпа мятая, руки дрожат.
Ту-ту-ту: понесли человека.
В синих лужах гвоздики лежат!

1999



...и при слове «грядущее»
из русского языка выбегают...

И. Бродский

Трижды убил в стихах реального человека,
и надо думать, однажды он эти стихи прочтёт.
Последнее, что увижу, будет улыбка зэка,
типа: в искусстве — эдак, в жизни — наоборот.

В тёмном подъезде из допотопной дуры
в брюхо шмальнёт и спрячет за отворот пальто.
Надо было выдумывать, а не писать с натуры.
Кто вальнул Бориса? Кто его знает, кто!

Из другого подъезда выйдет, пройдя подвалом,
затянется «Беломором», поправляя муде.
...В районной библиотеке засопят над журналами
люди из МВД.

1999



Мы целовались тут пять лет назад,
и пялился какой-то азиат
на нас с тобой — целующихся — тупо
и похотливо, что поделать — хам!
Прожекторы ночного дискотеки
гуляли по зелёным облакам.

Тогда мне было восемнадцать лет,
я пьяный был, я нёс изящный бред,
на фоне безупречного заката
шатался — полыхали облака —
и материл придурка азиата,
сжав кулаки в карманах пиджака.

Где ты, где азиат, где тот пиджак?
Но верю, на горе засвищет рак,
и заново былое повторится.
Я, детка, обниму тебя, и вот,
прожекторы осветят наши лица.
И снова: что ты смотришь, идиот?

А ты опять же преградишь мне путь,
ты закричишь, ты кинешься на грудь,
ты приведёшь меня в свою общагу.
Смахнёшь рукою крошки со стола.
Я выпью и на пять минут прилягу,
потом проснусь: ан жизнь моя прошла.

1999

РОМАНС

Саше Верникову

Мотив неволи и тоски.
Октябрь, наверно? Осень, что ли?
Звучит и давит на виски
мотив тоски, мотив неволи.

Всегда тоскует человек,
но иногда тоскует очень,
как будто он тагильский зек,
нет, ивдельский разнорабочий.

В осенний вечер, проглотив
стакан плохого алкоголя,
сидит и слушает мотив,
мотив тоски, мотив неволи.

Он в куртке наголо сидит,
в трико и тапках у подъезда,
на куст рыдающий глядит,
а жизнь темна и неуместна.

Жизнь бесполезна и черна.
И в голове дурные мысли,
сперва о смерти — до хрена,
а после заново о жизни.

Мотив умолкнет, схлынет мрак,
как бы конкретно ни мутило,
но надо, чтобы на крайняк
у человека что-то было.

Есть у меня дружок Ваню
и адресок его жиганский.
Ширяться дурью, пить вино
в посёлок покачу цыганский.

В реальный табор пить вино.
Конечно, это театрально,
и театрально, и смешно,
но упоительно-печально.

Конечно же, давным-давно,
давным-давно не те цыганы.
Я представляю всё равно
гитары, песни и туманы.

Кружится сумрачная даль.
Плывут багровые полосы.
И забывается печаль.
И вспоминается Полонский.

И от подобных перспектив
на случай абсолютной боли
не слишком тягостен мотив
тоски, неволи.

1999



Я помню всё, хоть многое забыл, —
разболтанную школьную ватагу.
Мы к Первомаю замутили брагу,
я из канистры первым пригубил.

Я помню час, когда ногами нас
за хамство избивали демонстранты,
и музыку, и розовые банты.
О, раньше было лучше, чем сейчас.

По-доброму, с улыбкой, как во сне:
и чудом не потухла папироска,
мы все лежим на площади Свердловска,
где памятник поставят только мне.

1999



Роме Тягунову

Я работал на драге в посёлке Кытлым,
о чём позже скажу в изумительной прозе, —
корешился с ушедшим в народ мафиози,
любовался с буфетчицей небом ночным.
Там тельняшку такую себе я купил,
оборзел, прокурил самокрутками пальцы.
А ещё я ходил по субботам на танцы
и со всеми на равных стройбатовцев бил.
Боже мой, не бросай мою душу во зле, —
я как Слуцкий на фронт, я как Штейнберг на нары,
я обратно хочу — обгоняя отары,
ехать в синее небо на чёрном «козле».
Да, наверное, всё это — дым без огня
и актёрство: слоняться, дышать перегаром.
Но кого ты обманешь! А значит, недаром
в приисковом посёлке любили меня.

1999



А иногда отец мне говорил,
что видит про утиную охоту
сны с продолженьем: лодка и двустволка.
И озеро, где каждый островок
ему знаком. Он говорил: не видел
я озера такого наяву
прозрачного, какая там охота!
Представь себе... А впрочем, что ты знаешь
про наши про охотничьи дела!

Скучая, я вставал из-за стола
и шёл читать какого-нибудь Кафку,
жалеть себя и сочинять стихи
под Бродского, о том, что человек,
конечно, одиночество в квадрате,
нет, в кубе. Или нехотя звонил
замужней дуре, любящей стихи
под Бродского, а заодно меня —
какой-то экзотической любовью.
Прощай, любовь! Прошло десятилетье.
Ты подурнела, я похоршел,
и снов моих ты больше не хозяйка.

Я за отца досматриваю сны:
прозрачным этим озером блуждаю
на лодочке дюралевой с двустволкой,
любовно огибаю камыши,
чучёла расставляю, маскируюсь
и жду, и не промахиваюсь, точно
стреляю, что сомнительно для сна.

Что, повторяюсь, сомнительно для сна,
но это только сон и не иначе,
я понимаю это до конца.
И всякий раз, не повстречав отца,
я просыпаюсь, оттого что плачу.

1999



Прежде чем на тракторе разбиться,
застрелиться, утонуть в реке,
приходил лесник опохмелиться,
приносил мне вишни в кулаке.

С рюмкой спирта мама выходила,
менее красива, чем во сне.
Снова уходила, вишню мыла
и на блюде приносила мне.

Патронташ повесив в коридоре,
привозил отец издалека
с камышами синие озёра,
белые в озёрах облака.

Потому что все меня любили,
деревя молчали до утра.
«Девочке медведя подарили», —
перед сном читала мне сестра.

Мальчику полнеба подарили,
сумрак елей, золото берёз.
На заре гагару подстрелили.
И лесник три вишенки принёс.

Было много утреннего света,
с крыши в руки падала вода,
это было осенью, а лето
я не вспоминаю никогда.

1999



Ордена и аксельбанты
в красном бархате лежат,
и бухие музыканты
в трубы мятые трубят.

В трубы мятые трубили,
отставного хоронили
адмирала на заре,
все рыдали во дворе.

И на похороны эти
любовался сам не свой
местный даун, дурень Петя,
восхищённый и немой.

Он поднёс ладонь к виску.
Он кривил улыбкой губы.
Он смотрел на эти трубы,
слушал эту музыку.

А когда он умер тоже,
не играло ни хрена,
тишина, помилуй, Боже,
плохо, если тишина.

Кабы был постарше я,
забашлял бы девкам в морге,
прикупил бы в Военторге
я военного шмотья.

Заплатил бы, попросил бы,
занял бы, уговорил
бы, с музоном бы решил бы,
Петю, бля, похоронил.

1999

ЧТЕНИЕ В ДЕТСТВЕ — РОМАНС

Окраина стройки советской,
фабричные красные трубы.
Играли в душе моей детской
Ерёменко медные трубы.

Ерёменко медные трубы
в душе моей детской звучали.
Навеки влюблённые, в клубе
мы с Ирою К. танцевали.

Мы с Ирою К. танцевали,
целуясь то в щёки, то в губы.
А душу мою разрывали
Ерёменко медные трубы.

И был я так молод, когда — то
надменно, то нежно, то грубо,
то жалобно, то виновато...
Ерёменко медные трубы!

1999



Нехорошо быть небогатым
и очень добрым, а не злым,
каким-нибудь жидом пархатым,
беззубым, лысым и хромым
незнаменитым графоманом,
что в кухне за полночь притих,
осенним облаком, туманом,
а я как раз один из них —
то по приколу, то впустую
пляшу, играю и пою,
спасая злую, злую, злую
не воровскую жизнь мою.
Кривые буковки рисую
и, горько плача, что умру,
спасаю музыку простую,
спасаю детскую игру.

1999



Нужно двинуть поездом на север,
на ракете в космос сквозануть,
чтобы человек тебе поверил,
обогрел и денег дал чуть-чуть.

А когда родился обормотом
и умеешь складывать слова,
нужно серебристым самолётом
долететь до города Москва.

1999



Словно в бунинских лучших стихах, ты, рыдая, роняла
из волос — что там? — шпильки, хотела

уйти навсегда.

И пластинка играла, играла, играла, играла,
и заело пластинку, и мне показалось тогда,
что и время, возможно, должно соскочить со спирали
и, наверно, размолвка должна продолжаться века.
Но запела пластинка, и губы мои задрожали,
словно в лучших стихах Огарёва: прости дурака.

1999



Включили новое кино,
и началась иная пьянка,
но всё равно, но всё равно
то там, то здесь звучит «таганка».

Что Ариосто или Дант!
Я человек того покроя —
я твой навеки арестант
и всё такое, всё такое.

1999



Кейсу Верхейлу, с любовью

Где обрывается память, начинается старая фильма,
играет старая музыка какую-то дребедень.
Дождь прошёл в парке отдыха, и не передать,
как сильно
благоухает сирень в этот весенний день.

Сесть на трамвай 10-й, выйти, пройти под аркой
сталинской: всё как было, было давным-давно.
Здесь меня брали за руку, тут поднимали на руки,
в открытом кинотеатре показывали кино.

Про те же самые чувства показывало искусство,
про этот самый парк отдыха, про мальчика на руках.
И бесконечность прошлого, высвеченного тускло,
очень мешает грядущему обрести размах.

От ностальгии или сдуру и спьяну можно
подняться превыше сосен, до самого неба на
колесе обозренья, но понять невозможно:
то ли войны ещё не было, то ли была война.

Всё в чёрно-белом цвете, ходят с мамами дети,
плохой репродуктор что-то победоносно поёт.
Как долго я жил на свете, как переносил все эти
сердцебиенья, слёзы, и даже наоборот.

1999



Когда в подъездах закрывают двери
и светофоры смотрят в небеса,
я перед сном гуляю в этом сквере,
с завидной регулярностью, по мере
возможности, по полтора часа.

Семь лет подряд хожу в одном и том же
пальто, почти не ведая стыда, —
не просто подвернувшийся прохожий
писатель, не прозаик, а хороший
поэт, и это важно, господа.

В одних и тех же брюках и ботинках,
один и тот же выдыхая дым.
Как портики на западных пластинках,
я изучил все корни на тропинках.
Сквер будет назван именем моим.

Пускай тогда, когда затылком стукну
по днищу гроба, в подземелье рухну,
заплаканные свердловчане пусть
нарядят механическую куклу
в моё шмотьё, придав движеньям грусть.

И пусть себе по скверу шкандыбают,
пусть курит «Приму» или «Беломор».
Но раз в полгода куклу убирают,
и с Лузиным Серёгой запивает
толковый опустившийся актёр.

Такие удивительные мысли
ко мне приходят с некоторых пор.
А право, было б шороху в отчизне,
когда б подобны почести — при жизни...
Хотя, возможно, это перебор.

1999



Путь до Магадана недалёкий,
поезд за полгода довезёт...

Песня

В обширном здании вокзала
с полуночи и до утра
гармошка тихая играла:
«та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра».

За бесконечную разлуку,
за невозможное прости,
за искалеченную руку,
за чёрт-те что в конце пути —

нечётные играли пальцы,
седую голову трясло.
Круглоголовые китайцы
тащили мимо барахло.

Тургруппы чинно проходили,
несли узбеки арбузы...
Не поимеешь, выходило,
здесь ни монеты, ни слезы.

Зачем же, дурень и бездельник,
играешь неизвестно что?
Живи без курева и денег
в одетом наголо пальто.

Надрывы музыки и слёзы
не выноси на первый план —
на юг уходят паровозы.
«Уходит поезд в Магадан!»

1999

МОРЕ

В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты, где выглядят смешно и жалко сирень и прочие цветы, есть дом шестнадцатизэтажный, у дома тополь или клён стоит ненужный и усталый, в пустое небо устремлён; стоит под топодем скамейка, и, лбом уткнувшийся в ладонь, на ней уснул и видит море писатель Дима Рябоконт.

Он развязал и выпил водки, он на хер из дому ушёл, он захотел уехать к морю, но до вокзала не дошёл. Он захотел уехать к морю, оно — страдания предел. Проматерился, проревелся и на скамейке захрапел.

Но море сине-голубое, оно само к нему пришло и, утреннее и родное, заулыбалось светло. И Дима тоже улыбнулся. И, хоть недвижимый лежал, худой, и лысый, и беззубый, он прямо к морю побежал.

Бежит и видит человека на золотом на берегу.

А это я никак до моря доехать тоже не могу — уснул, качаясь на качели, вокруг какие-то кусты. В кварталах дальних и печальных, что утром серы и пусты.

1999



Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал моих друзей —
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети — грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на тёплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром, что ли, желторотый дуралей —
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей!
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.

1999

ОСЕНЬ

Уж убран с поля начисто турнепс
и вывезены свёкла и капуста.
На фоне развернувшихся небес
шёл первый снег, и сердцу было грустно.

Я шёл за снегом, размышляя о
бог знает чём, берёзы шли за мною.
С голубизной мешалось серебро,
мешалось серебро с голубизною.

1999



Только справа соседа закроют, откинется слева:
если кто обижает, скажи, мы соседи, сопляк.
А потом загремит дядя Саша, и вновь дядя Сева
в драной майке на лестнице: так, мол, Бориска, и так,
если кто обижает, скажи. Так бы жили и жили,
но однажды столкнулись — какой-то там тесть или зять
из деревни — короче, они мужика замочили.
Их поймали, и некому стало меня защищать.
Я зачем тебе это сказал, а к тому разговору,
что вчера на башке на моей ты нашла серебро, —
жизнь проходит, прикинь! Дай мне денег,
я двину к собору,
эти свечи поставлю, отвечу добром на добро.

1999



У памяти на самой кромке
и на единственной ноге
стоит в ворованной дублёнке
Василий Кончев — Гончев, «Ге»!
Он потерял протез по пьянке,
а с ним ботинок дорогой.
Пьёт пиво из литровой банки,
как будто в пиве есть покой.
А я протягиваю руку:
уже хорош, давай сюда!

Я верю, мы живём по кругу,
не умираем никогда.
И остаётся, остаётся
мне ждать, дыханье затая:
вот он допьёт и улыбнётся.

И повторится жизнь моя.

1999



Надиктуй мне стихи о любви,
хоть немного душой покриви,
моё сердце холодное, злое
неожиданной строчкой взорви.

Расскажи мне простые слова,
чтобы кругом пошла голова.
В мокром парке башками седыми,
улыбаясь, качает братва.

Удивляются: сколь тебе лет?
Ты, братишка, в натуре поэт.
Это всё приключилось с тобою,
и цены твоей повести нет.

Улыбаюсь, уделав стакан
за удачу, и прячу в карман,
пожимаю рабочие руки,
уплываю, качаясь, в туман.

Расставляю все точки над «ё».
Мне в аду полыхать за враньё,
но в раю уготовано место
вам — за веру в призванье моё.

1999



Мне не хватает нежности в стихах,
а я хочу, чтоб получалась нежность —
как неизбежность или как небрежность.
И я тебя целую впопыхах.

О муза бестолковая моя!
Ты, отворачиваясь, прячешь слёзы.
А я реву от этой жалкой прозы,
лица не пряча, сердца не тая.

Пацанка, я к щеке твоей прилип.
Как старики, как ангелы, как дети,
мы станем жить одни на целом свете.
Ты всхлипываешь, я рифмую «всхлип».

1999



До пупа сорвав обноски,
с нар сползают фраера,
на спине Иосиф Бродский
напортачен у бугра —

начинаются разборки
за понятия, за наколки.

Разрываю сальный ворот:
душу мне не бережи.
Профиль Слуцкого наколот
на седеющей груди!

1999



Вы, Нина, думаете, вы
нужны мне, что вы, я, увы,
люблю прелестницу Ирину,
а вы, увы, не таковы.

Ты полагаешь, Гриня, ты
мой друг единственный, — мечты!
Леонтьев, Дозморев и Лузин,
вот, Гриня, все мои кенты.

Леонтьев — гений и поэт,
и Дозморев, базару нет,
поэт, а Лузин — абсолютный
на РТИ авторитет.

1999



Не забывай, не забывай
игру в очко на задней парте.
Последний ряд в кинотеатре.
Ночной светящийся трамвай.

Волненье девичьей груди.
Но только близко, близко, близко
(не называй меня Бориской!)
не подходи, не подходи.

Всплывёт ненужная деталь:
— Прочти мне Одена, Бориска... —
Обыкновенная садистка!
И сразу прошлого не жаль.

1999

◇ ◇ ◇

Прошёл запой, а мир не изменился.
Пришла музѳка, кончились слова.
Один мотив с другим мотивом слился.
(Весьма амбициозная строфа.)

...а может быть, совсем не надо слов
для вот таких — каких таких? — ослов...

Под сине-голубыми облаками
стою и тупо развожу руками,
весь музыкою полон до краѳв.

1999

◇ ◇ ◇

У современного героя
я на часок тебя займу,
в чужих стихах тебя сокрою
поближе к сердцу моему.

Вот: бравый маленький поручик,
на тройке ухарской лечу.
Ты, зябко кутаясь в тулупчик,
прижалась к моему плечу.

И эдаким усталым фатом,
закуривая на ветру,
я говорю: живи в двадцатом.
Я в девятнадцатом умру.

Но больно мне представить это:
невеста, в белом, на руках
у инженера-дармоеда,
а я от неба в двух шагах.

Артериальной тёплой кровью
я захлебнусь под Машуком,
и медальон, что мне с любовью,
где ты ребёнком... В горле ком.

1999

НА МОТИВ ЛУГОВСКОГО

Всякий раз, гуляя по Свердловску,
я в один сворачиваю сквер,
там стоят торговые киоски
и висит тряпьё из КНР.

За горою джинсовогохлама
вижу я знакомые глаза.
Здравствуй, одноклассница Татьяна!
Где свиданья чистая слеза?

Азеров измучила прохлада.
В лужи осыпается листва.
Мне от сказки ничего не надо,
кроме золотого волшебства.

Надо, чтобы нас накрыла снова,
унесла зелёная волна
в море жизни, океан бывшего,
старых фильмов, музыки и сна.

1999



М. Окуню

На фоне гранёных стаканов
рубаху рвануть что есть сил...
Наколка — «Георгий Иванов» —
на Вашем плече, Михаил.

Вам грустно, а мне одиноко.
Нам кажут плохое кино.
Ах, Мишенька, с профилем Блока
на сердце живу я давно.

Аптека, фонарь, незнакомка —
не вытравить этот пейзаж
Гомером, двухтомником Бонка...
Пойдёмте, наш выход на пляж.

1999



Подались хулиганы в поэты,
под сиренью сидят до утра,
сочиняют свои триолеты.
Лохмандеи пошли в мусора —

ловят шлюх по ночным переулкам,
в нулевых этажах ОВД
в зубы бьют уважаемым уркам,
и т. д., и т. п., и т. д.

Но отыщется нужное слово,
но забродит осадок на дне,
время вспять повернётся, и снова
мы поставим вас к школьной стене.

1999



Так я понял: ты дочь моя, а не мать,
только надо крепче тебя обнять
и взглянуть через голову за окно,
где сто лет назад, где давным-давно
сопляком шмонался я по двору
и тайком прикуривал на ветру,
окружён шпаной, но всегда один, —
твой единственный, твой любимый сын.

Только надо крепче тебя обнять
и потом ладоней не отнимать
сквозь туман и дождь, через сны и сны.
Пред тобой одной я не знал вины.

И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая, смог наконец понять,
понял я: ты дочь моя, а не мать.

И настанет время потом, потом —
не на чёрно-белом, а на цветном
фото, не на фото, а наяву
точно так же я тебя обниму.

И исчезнут морщины у глаз, у рта,
ты ребёнком станешь — о, навсегда! —
с алой лентой, вьющейся на ветру.
...Когда ты уйдёшь, когда я умру.

1999



Я зеркало протру рукой
и за спиной увижу осень.
И беспокоен мой покой,
и счастье счастья не приносит.

На землю падает листва,
но долго кружится вначале.
И без толку искать слова
для торжества такой печали.

Для пьяницы-говоруна
на флейте отзвучало лето,
теперь играет тишина
для протрезвевшего поэта.

Я ближе к зеркалу шагну
и всю печаль собой закрою,
Но в эту самую мину-
ту грянет ветер за спиною.

Всё зеркало заполнит сад,
лицо поэта растворится.
И листья заново взлетят
и станут падать и кружиться.

1999

МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ



Нагой, но в кепке восьмигранной, переступая через нас, со знаком качества на члене, идёт купаться дядя Стас. У водоёма скинул кепку, махнул седеющей рукой: айда купаться, недотёпы, и — оп о сваю головой.

Он был водителем «камаза». Жена, обмякшая от слёз. И вот: хоронят дядю Стаса под вой сигналов, скрип колёс.

Такие случаи бывали, что мы в натуре, сопляки, стояли и охували, чесали лысые башки. Такие вещи нас касались, такие песни про тюрьму на двух аккордах обрывались, что не расскажешь никому.

А если и кому расскажешь, так не поверят ни за что, и, выйдя в полночь, стопку вмажешь в чужом пальте, в чужом пальто. И, очарованный луною, окурок выплюнешь на снег и прочь отчалишь.

Будь собою, чужой, ненужный человек.



Участковый был тихий и пьяный, сорока или более лет. В управлении слыл он смутьяном, не давали ему пистолет. За дурные привычки, замашки двор его поголовно любил. Он ходил без ментовской фуражки, в кедах на босу ногу ходил. А ещё был похож на поэта, то ли Пушкина, то ли кого. Со шпаную сидел до рассвета. Что ещё я о нём?

Ничего мне не вспомнить о нём, если честно.

А зажмурюсь, и вспомнится вдруг только тусклая возле подъезда лампочка с мотыльками вокруг.



Хожу по прошлому, брожу, как археолог. Наклейку, марку нахожу, стекла осколок. ...Тебя нетронутый, живой, вполне реальной, весь полон музыкаю той вполне печальной. И пролетают облака, и скоро вечер, и тянется моя рука твоей навстречу. Но растворяются во мгле дворы и зданья.

И ты бледнеешь в темноте — моё созданье, то, кем я жил и кем я жив в эпохе дальней.

И всё печальнее мотив, и всё печальней.

2000–2001

СЧИТАЛОЧКА

Пани-горе, тук-тук,
это Ваш давний друг,
пан Борис на пороге
от рубахи до брюк,
от котелка, нет,
кепочки — до штиблет,
семечек, макинтоша,
трости и сигарет,
я стучу в Ваш дом
с обескровленным ртом,
чтоб приобрести у Вас маузер,
остальное — потом.

ЭЛЕГИЯ

Благодарю за каждую дождинку.
Неотразимой музыке бывшего
подстукивать на пишущей машинке —
она пройдёт, начнётся снова.
Она начнётся снова, я начну
стучать по чёрным клавишам в надежде,
что вот чуть-чуть, и будет всё как прежде,
что, чёрт возьми, я прошлое верну.
Пусть даже так: меня не будет в нём,
в том прошлом, только чтоб без остановки
лил дождь, и на трамвайной остановке
сама Любовь стояла под дождём

в коротком платье летнем, без зонта,
скрестив надменно ручки на груди, со
скорлупкою от семечки у рта.

*12 строчек Рыжего Бориса,
забывшего на три минуты зло
себе и окружающим во благо.
«Олутриа» — машинка,
«КУМ» — бумага.
Такой-то год, такое-то число.*



Д. К.

Завидуешь мне, зависть — это дурно, а между тем
есть чему позавидовать, мальчик, на самом деле —
я пил, я беседовал запросто с героем его поэм
в выдуманном им городе, в придуманном им отеле.
Ай, стареющий мальчик, мне, эпигону, мне
выпало такое счастье, отпетому хулигану,
любящему «Пушторг» и «Лошади в океане», —
ангел с отбитым крылом под синим дождём в окне.
Ведь я заслужил это, не правда ли, сделал шаг,
отравил себя музыкой, улицами, алкоголем,
небом и северным морем. «Вы» говори, дурак,
тому, кто зачислен к мёртвым, а из живых уволен.



Живу во сне, а наяву
сизу-дремлю.
И тех, с которыми живу,
я не люблю.

Просторы, реки, облака,
того-сего.
И да не дрогнула б рука,
сказал, кого.

Но если честным быть в конце
и до конца —
лицо своё, в своём лице
лицо отца.

За этот сумрак, этот мрак,
что свыше сил,
я так люблю его, я так
его любил.

Как эти реки, облака
и виражи
стиха, не дрогнула б строка,
как эту жизнь.



Я подарил тебе на счастье
во имя света и любви
запас ненастья
в моей крови.

Дождь, дождь идёт, достанем зонтик, —
на много, много, много лет
вот этот дождик
тебе, мой свет.

И сколько б он ни лил, ни плакал,
ты стороною не пройдёшь...
Накинь, мой ангел,
мой макинтош.

Дождь орошает, но и губит.
Открой усталый алый рот.
И смерть наступит.
И жизнь пройдёт.



И огни светофоров,
и скрещения розовых фар.
Этот город, который
чётче, чем полуночный кошмар.

Здесь моя и проходит
жизнь с полуночи и до утра.
В кабаках ходят-бродят
прожектора.

В кабаке твои губы
ярче ягод на том берегу.
И белей твои зубы
тех жемчужин на талом снегу.

Взор твой ярок и влажен,
как чужой и неискренний дар.
И твой спутник не важен
в свете всех светофоров и фар.

Ну-ка, стрелку положим,
станем тонкою струйкой огня,
чтоб не стало, положим,
ни тебя, ни меня.

Ни тебя, ни меня, ни
голубого дождя из-под шин —
в голубое сиянье
милицейских машин.



Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?

Стань девочкою прежней с белым бантом,
я — школьником, рифмуясь с музыкантом,
в тебя влюблённым и в твою подругу,
давай-ка руку.

Не ты, а ты, а впрочем, как угодно —
ты будь со мной всегда, а ты свободна,
а если нет, тогда меняйтесь смело,
не в этом дело.

А дело в том, что в сентябре-начале
у школы утром ранним нас собрали,
и музыканты полное печали
для нас играли.

И даже, если даже не играли,
так, в трубы дули, но не извлекали
мелодию, что очень вероятно,
пошли обратно.

А ну назад, где облака летели,
где, полыхая, клёны облетели,
туда, где до твоей кончины, Эля,
ещё неделя.

Ещё неделя света и покоя,
и ты уйдёшь, вся в белом, в голубое,
не ты, а ты с закушенной губою,
пойдёшь со мною

мимо цветов, решёток, в платье строгом,
вперёд, где в тоне дерзком и жестоком
ты будешь много говорить о многом
со мной, я — с Богом.



Веди меня аллеями пустыми,
о чём-нибудь ненужном говори,
нечётко проговаривая имя.
Оплакивают лето фонари.

Два фонаря оплакивают лето.
Кусты рябины. Влажная скамья.
Любимая, до самого рассвета
побудь со мной, потом оставь меня.

А я, оставшись тенью потускневшей,
ещё немного послоняюсь тут,
всё вспомню: свет палящий, мрак крошечный.
И сам исчезну через пять минут.



Как только про мгновения весны
кино начнётся, опустеет двор,
ему приснятся сказочные сны,
умнейшие, хоть узок кругозор.

Спи, спи, покуда трескается лёд,
пока скрипят качели на ветру
и ветер поднимает и несёт
вчерашнюю газету по двору.

И мальчик на скамейке одинок,
сидит себе, лохматый ротозей,
за пустотой следит, и невдомёк
чумазому себя причислить к ней.



Вспомним всё, что помним и забыли,
всё, чем одарил нас детский бог.
Городок, в котором мы любили,
в облаках затерян городок.

И когда бы плёнку прокрутили
мы назад, увидела бы ты,
как пылятся на моей могиле
неживые жёлтые цветы.

Там я умер, но живому слышен
птичий гомон, и горит заря
над кустами алых диких вишен.
Всё, что было после, было зря.

2000



Не черёмухе в сквере
и не роще берёз, —
только музыке верил,
да и то не всерьёз.

Хоть она и рыдала
у меня на плече,
хоть и не отпускала
никуда вообще.

Я отдёргивал руку
и в лицо ей кричал:
ты продашь меня, сука,
или нет, отвечай?

Проводник хлопал дверью,
грохотал паровоз.
Только в музыку верил,
да и то не до слёз.

2000



Помнишь дождь на улице Титова,
что прошёл немного погоды
после слёз и сказанного слова?
Ты не помнишь этого дождя!

Помнишь, под озябшими кустами
мы с тобою простояли час,
и трамваи сонными глазами
нехотя оглядывали нас?

Озирались сонные трамваи,
и вода по мордам их текла.
Что ещё, Иринushка, не знаю,
но, наверно, музыка была.

Скрипки ли невидимые пели
или что иное, если взять
двух влюблённых на пустой аллее,
музыка не может не играть.

Постою немного на пороге,
а потом отчалою навсегда
без музы́ки, но по той дороге,
по которой мы пришли сюда.

И поскольку сердце не забыло
взор твой, надо тоже не забыть
поблагодарить за всё, что было,
потому что не за что простить.

2000



О. Е.

В Свердловске живущий,
но русскоязычный поэт,
четвёртый день пьющий,
сидит и глядит на рассвет.

Промышленной зоны
красивый и первый певец
сидит на газоне,
традиции новой отец.

Он курит неспешно,
он не говорит ничего
(прижались к коленям его
печально и нежно

козлёнок с барашком),
и слёз его очи полны.
Венок из ромашек,
спортивные, в общем, штаны,

кроссовки и майка —
короче, одет без затей,
чтоб было не жалко
отдать эти вещи в музей.

Следит за погрузкой
песка на раздолбанный ЗИЛ —
приёмный, но любящий сын
поэзии русской.

2000



Ты танцевала, нет, ты танцевала, ты танцевала, я точно помню — водки было мало, а неба много. Ну да, ей-богу, это было лето. И до рассвета свет фонаря был голубого цвета. Ты всё забыла. Но это было. А ещё ты пела. Листва шумела. Числа какого? Разве в этом дело... Не в этом дело!

А дело вот в чём: я вру безбожно, и скулы сводит, что в ложь, и только, влюбиться можно.

А жизнь проходит.

2000



Я по снам по твоим не ходил
и в толпе не казался,
не мерещился в сквере, где лил
дождь, верней — начинался
дождь (я вытяну эту строку,
а другой не замечу),
это блазнилось мне, дураку,
что вот-вот тебя встречу,
это ты мне являлась во сне
(и меня заполняло
тихой нежностью), волосы мне
на висках поправляла.
В эту осень мне даже стихи
удавались отчасти
(но всегда не хватало строки
или рифмы — для счастья).



Я тебе привезу из Голландии Lego,
мы возьмём и построим из Lego дворец.
Можно годы вернуть, возвратить человека
и любовь, да чего там, ещё не конец.
Я ушёл навсегда, но вернусь, однозначно, —
мы поедem с тобой к золотым берегам.
Или снимем на лето обычную дачу,
там посмотрим, прикинем по нашим деньгам.
Станем жить и лениться до самого снега.
Ну а если не выйдет у нас ничего —
я пришлю тебе, сын, из Голландии Lego,
ты возьмёшь истроишь дворец из него.



Зелёный змий мне преградил дорогу
к таким необоримым высотам,
что я твержу порою: слава богу,
что я не там.

Он рек мне, змий, на солнце очи щуря:
вот ты поэт, а я зелёный змей,
закуривай, присядь со мною, керя,
водяру пей;

там, наверху, вертлявые драконы
пускают дым, беснуются — скоты,
иди в свои промышленные зоны,
давай на «ты».

Ступай, он рек, вали и жги глаголом
сердца людей, простых Марусь и Вась,
раз в месяц наливаясь алкоголем,
неделю квась.

Так он сказал, и вот я здесь, ребята,
в дурацком парке радуюсь цветам
и девушкам, а им того и надо,
что я не там.

2000

◇ ◇ ◇

10-й класс —
всё это было, было, было:
мир, мир объятия раскрыл, а
нет, не для нас...

Здрав башку,
апрельскою люблюсь синью
(гоню строку!) —
там смерть твоя с моею жизнью

пересеклась,
и в точке соприкосновенья
10-й класс
и тени, тени под сиренью.

И тени, те-
ни под сиренью, тени, тени.
А эти, те,
что пьют портвейн в кустах сирени

— кто? Я и ты.
И нам всё это по приколу:
кругом цветы!
Пора? Или забьём на школу?

Забив на жизнь,
на родственников и начальство,
ты там держись
и за меня не огорчайся:

мы ещё раз
потом сыграем, как по нотам,
— не ангелы, а кто ещё там? —
10-й класс.

2000

ГИМН КОШКЕ

Ты столь паршива, моя кошка,
что гимн слагать тебе не буду.
Давай, гляди в своё окошко,
пока я мою здесь посуду.
Тебя я притащил по пьянке,
была ты маленьким котёнком.
И за ушами были ранки.
И я их смазывал зелёлкой.
Единственное, что тревожит, —
когда войду в пределы мрака,
тебе настанет крышка тоже.
И в этом что-то есть, однако.
И вот от этого мне страшно.
И вот поэтому мне больно.
А остальное всё — не важно.
Шестнадцать строчек. Ты довольна?



Мальчишкой в серой кепочке остаться,
самим собой, короче говоря.

Меж правдою и вымыслом слоняться
по облетевшим листьям сентября.

Скамейку выбирая, по аллеям
шататься, ту, которой навсегда
мы прошлое и будущее склеим.
Уйдём — вернёмся именно сюда.

Как я любил унылые картины,
посмертные осенние штрихи,
где в синих лужах ягоды рябины,
и с середины пишутся стихи.

Поскольку их начало отзвучало,
на память не оставив ничего.
Как дождик по карнизу отстучало,
а может, просто не было его.

Но мальчик был, хотя бы для порядку,
что проводил ладонью по лицу,
молчал, стихи записывал в тетрадку,
в которых строчки двигались к концу.



Погадай мне, цыганка, на медный грош,
растолкуй, отчего умру.

Отвечает цыганка, мол, ты умрёшь,
не живут такие в миру.

Станет сын чужим и чужой жена,
отвернутся друзья-враги.

Что убьёт тебя, молодой? Вина.

Но вину свою береги.

Перед кем вина? Перед тем, что жив.

И смеётся, глядит в глаза.

И звучит с базара блатной мотив,
проясняются небеса.



Отмотай-ка жизнь мою назад
и ещё назад:
вот иду я пьяный через сад,
осень, листопад.

Вот иду я: девушка с веслом
слева, а с ядром —
справа, время встало и стоит,
а листва летит.

Все аттракционы на замке,
никого вокруг,
только слышен где-то вдалеке
репродуктор-друг.

Что поёт он, чёрт его поймёт,
что и пел всегда:
что любовь пройдёт, и жизнь пройдёт,
пролетят года.

Я сюда глубоким стариком
некогда вернусь,
погляжу на небо, а потом
по листве пройдуся.

Что любовь пройдёт и жизнь пройдёт,
вяло подпою,
ни о ком не вспомню, старый чёрт,
бездны на краю.



Отцы пустынноики и жены непорочны...
А. П.

Гриша-Поросёнок выходит во двор,
в правой руке топор.
«Всех попишу, — начинает он
тихо, потом орёт: —
Падлы!» Развязно со всех сторон
обступает его народ.

Забирают топор, говорят «ну вот!»,
бьют коленом в живот.
Потом лежачего бьют.
И женщина хрипло кричит из окна:
они же его убьют.
А во дворе весна.

Белые яблони. Облака
синие. Ну, пока,
молодость, говорю, прощай.
Тусклой звездой освещай мой путь.
Всё, и помнить не обещаю,
сниться не позабудь.

Не печалься и не грусти.
Если в чём виноват, прости.
Пусть вечно будет твоё лицо
освещено весной.
Плевать, если знаешь, что было со
мною, что будет со мною.



Рубашка в клеточку, в полоску брючки —
со смертью-одноклассницей под ручку
по улице иду,
целуясь на ходу.

Гремят «камазы» и дымят заводы.
Локальный Стикс колышет нечистоты.
Акации цветут.
Кораблики плывут.

Я раздаю прохожим сигареты
и улыбаюсь, и даю советы,
и прикурить даю.
У бездны на краю

твой белый бант плывёт на синем фоне.
И сушится на каждом на балконе
то майка, то пальто,
то неизвестно что.

Папаша твой зовёт тебя, подруга,
грозит тебе и матерится, сука,
ебаный пидарас,
в окно увидев нас.

Прости-прощай. Когда ударят трубы
и старый боров выдохнет сквозь зубы
за именем моим
зеленоватый дым,

подкравшись со спины, двумя руками
закрыв глаза мои под облаками,
дыханье затая,
спроси меня: кто я?

И будет музыка, и грянут трубы,
и первый снег мои засыплет губы
и мёртвые цветы.
— Мой ангел, это ты.



Не надо ничего,
оставьте стол и дом
и осенью, того,
рябину за окном.

Не надо ни хрена —
рябину у окна
оставьте, ну и на
столе стакан вина.

Не надо ни хера,
помимо сигарет,
и чтоб включал с утра
Вертинского сосед.

Пускай о розах, бля,
он мямлит из стены —
я прост, как три рубля,
вы лучше, вы сложны.

Но, право, стол и дом,
рябину, боль в плече,
и память о былом,
и вообще, вообще.



Я по листьям сухим не бродил
с сыном за руку, за облаками,
обретая покой, не следил,
не аллеями шёл, а дворами.

Только в песнях страдал и любил.
И права, вероятно, Ирина —
чьи-то книги читал, много пил
и не видел неделями сына.

Так какого же чёрта даны
мне неведомой щедрой рукою
с облаками летящими сны,
с детским смехом, с опавшей листвою.



Сесть на корточки возле двери в коридоре
и башку обхватить:
выход или не выход уехать на море,
на работу забить?

Ведь когда-то спасало: над синей волною
зеленела луна.
И, на голову выше, стояла с тобою,
и стройна, и умна.

Пограничники с вышки своей направляли,
суки, прожектора
и чужую любовь, гогоча, освещали.
Эта песня стара.

Это — «море волнуется — раз», в коридоре
самым пасмурным днём
то ли счастье своё полюби, то ли горе,
и вставай, и пойдём.

В магазине прикупим консервов и хлеба
и бутылку вина.
Не спасёт тебя больше ни звёздное небо,
ни морская волна.

2000



За обедом, блядь, рассказал Косой,
что приснилась ему блядь с косою —
фиксы золотые
и глаза пустые.

Ломанулся Косой, а она стоит,
только ногтем грязным ему грозит:
поживи, мол, ладно,
типа, сука, падло.

Был я мальчик, было мне восемь лет,
ну от силы девять, и был я свят
и, вдыхая вешний,
мастерил скворешни.

А потом стал юношей, а потом
дядей Борей в майке и с животом,
типа вас, Косого,
извини за слово.

И когда ложусь я в свою кровать,
вроде сплю, а сам не умею спать:
мучит чувство злое —
было ли бывшее?

Только слёзы катятся из-под век —
человек я или не человек?
Обступают тени
в прошлое ступени.



На границе между сном и явью
я тебя представлю
в лучшем виде, погляжу немного
на тебя, Серёга.

Где мы были? С кем мы воевали?
Что мы потеряли?
Что найду я на твоей могиле,
кроме «жили-были»?

Жили-были, били неустанно
Лёху-Таракана.
...А хотя, однажды с перепоею
обнялись с тобою

и пошли дошли на фоне марта
до кинотеатра.
Это жили, что ли, поживали?
Это умирали.

Это в допотопном кинозале,
где говно казали,
плюнул ты, ушёл, а я остался
до конца сеанса.

Пялюсь на экран дебил дебиллом.
Мне б к родным могилам
просквозить, Серёга, хлопнув дверью,
тенью в нашем сквере.



С антресолей достану «ТТ»,
покручу-поверчу —
я ещё поживу и т. д.,
а пока не хочу
этот свет покидать, этот свет,
этот город и дом.
Хорошо, если есть пистолет,
остальное — потом.
Из окошка взгляну на газон
и обрубок куста.
Домофон загудит, телефон
зазвонит — суета.

Надо дачу сначала купить,
чтобы лес и река
в сентябре начинали грустить
для меня, дурака.
Чтоб летели кругом облака.
Я о чём? Да о том:
облака для меня, дурака.
А ещё, а потом,
чтобы лес золотой, голубой
блеск реки и небес.
Не прохладно проститься с собой
чтоб — в слезах, а не без.



На теплотрассе выросли цветы.
Калеки, нищие, собаки и коты
на теплотрассе возлежат, а мимо
идёт поэт. Кто, если не секрет?
Кто, как не я! И синий облак дыма
летит за мной. Апрель. Рассвет.



Если в прошлое, лучше траваем
со звоночком, поддатым соседом,
грязным школьником, тётей с приветом,
чтоб листва тополиная следом.

Через пять или шесть остановок
въедем в восьмидесятые годы:
слева — фабрики, справа — заводы,
не тушуйся, закуривай, что ты.

Что ты мямлишь скептически, типа
это всё из набоковской прозы, —
он барчук, мы с тобою отбросы.
Улыбнись, на лице твоём слёзы.

Это наша с тобой остановка:
там — плакаты, а там — транспаранты,
небо синее, красные банты,
чьи-то похороны, музыканты.

Подыграй на зубах этим дядям
и отчаль под красивые звуки:
куртка кожаная, руки в брюки,
да по улочке вечной разлуки.

Да по улице вечной печали
в дом родимый, сливаясь с закатом,
одиначеством, сном, листопадом,
возвращайся убитым солдатом.



Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом,
а небо голубое.
Как запросто родиться человеком,
особенно собою.

Он выставлял в окошко радиолу,
и музыка играла.
Он выходил во двор по пояс голый
и начинал сначала

о том, о сём, об Ивделе, Тагиле,
он отвечал за слово
и закурить давал, его любили,
и пела Пугачёва.

Про розы, розы, розы, розы, розы.
Не пожимай плечами,
а оглянись и улыбнись сквозь слёзы:
нас смерти обучали

в пустом дворе под вопли радиолы.
И, этой сложной теме
верны, мы до сих пор, сбежав из школы,
в тени стоим там, тени.



Не покидай меня, когда
горит полночная звезда,
когда на улице и в доме
всё хорошо, как никогда.

Ни для чего и низачем,
а просто так и между тем
оставь меня, когда мне больно,
уйди, оставь меня совсем.

Пусть опустеют небеса.
Пусть станут чёрными леса.
Пусть перед сном предельно страшно
мне будет закрывать глаза.

Пусть ангел смерти, как в кино,
то яду подольёт в вино,
то жизнь мою перетасует
и крести бросит на сукно.

А ты останься в стороне —
белей черёмухой в окне
и, не дотягиваясь, смейся,
протягивая руку мне.



И.

Не безысходный — трогательный, словно
пять лет назад,
отметить надо дождик безусловно
и листопад.

Пойду, чтобы в лицо летели листья, —
я так давно
с предсмертной разлукою сроднился,
что всё равно.

Что даже лучше выгляжу на фоне
предзимних дней.
Но с каждой осенью твои ладони
мне всё нужней.

Так появись, возьми меня за плечи,
былой любви
во имя, как пойду листве навстречу,
останови.

...Гляди-ка, сопляки на спортплощадке
гоняют мяч.
Шарф размотай, потом сними перчатки,
смотри не плачь.



Бритвочкой на зеркальце гашиш
отрезая, что-то говоришь,
весь под ноль
стриженный, что времени в обрез,
надо жить, и не снимает стресс
алкоголь.

Ходит всеми комнатами боль,
и не помогает алкоголь.
Навсегда
в памяти моей твои черты
искажаются, но это ты,
понял, да.

Да, и где бы ни был ты теперь,
уходя, ты за собою дверь
не закрыл.
Я гляжу в проём: как сумрак бел...
Я ли тебя, что ли, не жалел,
не любил.

Чьи-то ледяные голоса.
В зеркальце блестят твои глаза
с синевой.
Орден за Анголу на груди,
ты ушёл, бери и выходи
за тобой.



И вроде не было войны,
но почему коробит имя
твое в лучах такой весны,
когда глядишь в глаза жены
глазами дерзкими, живыми?

И вроде трубы не играли,
не обнимались, не рыдали,
не раздавали ордена,
протезы, звания, медали,
а жизнь, что жив, стыда полна?



Городок, что я выдумал и заселил человеками,
городок, над которым я лично пустил облака,
барахлит, ибо жил, руководствуясь некими
соображениями, якобы жизнь коротка.

Вырубается музыка, как музыкант ни старается.
Фонари не горят, как ни кроет их матом
электрик-браток.
На глазах, перед зеркалом стоя, дурнеет красавица.
Барахлит городок.

Виноват, господа, не учёл, но она продолжается,
всё к чертям полетело, а что называется мной,
то идёт по осенней аллее, и ветер
свистит-надрывается,
и клубится листва за моею спиной.



А. П. Сидорову, наркологу

Синий свет в коридоре больничном,
лунный свет за больничным окном.
Надо думать о самом обычном,
надо думать о самом простом.

Третьи сутки ломает цыгана,
просто нечем цыгану помочь.
Воду ржавую хлещешь из крана,
и не спится, и бродишь всю ночь

коридором больничным при свете
синем-синем, глядишь за окно.
Как же мало ты прожил на свете,
неужели тебе всё равно?

(Дочитаю печальную книгу,
что забыта другим впопыхах.
И действительно музыку Грига
на вставных наиграю зубах.)

Да, плевать, но бывает порою.
Всё равно, но порой, иногда
я глаза на минуту закрою,
и открою потом, и тогда,

обхвативши руками коленки,
размышляю о смерти всерьёз,
тупо пялясь в больничную стенку
с нарисованной роцей берёз.



Осыпаются алые клёны,
полыхают вдали небеса,
солнцем розовым залиты склоны —
это я открываю глаза.

Где и с кем, и когда это было,
только это не я сочинил:
ты меня никогда не любила,
это я тебя очень любил.

Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке и к смерти готов.
Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарёв.

Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере
в первых строчках, припомни без зла.

Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну —
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.



Когда бутылку подношу к губам,
чтоб чисто выпить, похмелиться чисто,
я становлюсь похожим на горниста
из гипса, что стояли тут и там
по разным пионерским лагерям,
где по ночам — рассказы про садистов,
куренье, чтение «Графов Монте-Кристов»...

Куда теперь девать весь этот хлам,
всё это детство с муками и кровью
из носу, чёрт-те знает чьё
лицо с надломленной бровью,
вонзённое в перила лезвиё,
всё это обделённое любовью,
всё это одиночество моё?



Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участия,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.

Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит, —
небо, облака!
Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.

Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.



А грустно было и уныло,
печально, да ведь?
Но всё осветит, всё, что было,
исправит память —

звучи заезженной пластинкой,
хрипи и щёлкай.
Была и девочка с картинки
с завитой чёлкой.

И я был богом и боксёром,
а не поэтом.
То было правдою, а вздором
как раз вот это.

Чем дальше будет, тем длиннее
и бесконечней.
Звезда, осенняя аллея,
и губы, плечи.

И поцелуй в промозглом парке,
где наши лица
под фонарём видны неярко, —
он вечно длится.

РАЗГОВОР С БОГОМ

— Господи, это я мая второго дня.

— Кто эти идиоты?

— Это мои друзья.

На берегу реки водка и шашлыки, облака и русалки.

— Э, не рви на куски. На кусочки не рви, мерзостью назови, ад посули посмертно, но не лишай любви високосной весной, слышь меня, основной!

— Кто эти мудочёсы?

— Это — со мной!



Дай нищему на опохмелку денег.
Ты сам-то кто? Бродяга и бездельник,
дурак, игрок.

Не первой молодости нравящийся дамам,
давно небритый человек со шрамом,
сопляк, сынок.

Дай просто так и не проси молиться
за душу грешную, — когда начнёт креститься,
останови.

...От одиночества, от злости, от обиды
на самого, с которым будем квиты, —
не из любви.

НА СМЕРТЬ Р. Т.

Вышел месяц из тумана —
и на много лет
над могилою Романа
синий-синий свет.

Свет печальный, синий-синий,
лёгкий, неземной,
над Свердловском, над Россией,
даже надо мной.

Я свернул к тебе от скуки,
было по пути,
с папироской, руки в брюки,
говорю: прости.

Там, на ангельском допросе
всякий виноват,
за фитюли-папиросы
не сдавай ребят.

А не то, Роман, под звуки
золотой трубы
за спины закрутят руки
ангелы-жлобы.

В лица наши до рассвета
наведут огни,
отвезут туда, где это
делают они.

Так и мы уйдём с экрана, —
не молчи в ответ.
Над могилою Романа
только синий свет.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

При жизни екатеринбуржца Бориса Рыжего (1974–2001) вышел только один сборник его стихов («И всё такое...», СПб., 2000).

Второй, посмертный («На холодном ветру», СПб.), увидел свет в 2001 г.

Возможность ознакомиться с копиями рукописей поэта, любезно предоставленная Ириной Князевой и Б. П. Рыжим, позволила составить эту книгу.

Литературный архив Рыжего обширен.

Вне нашего корпуса осталось большинство юношеских текстов 1992–1995 гг. и многие более поздние стихи.

В итоге в собрание включены стихотворения 1993–2001 гг. как незнакомые читателям, так и ранее опубликованные.

Рыжий имел обыкновение многожды возвращаться к написанному: правил, чиркал, дополнял, менял датировки.

Часто один текст, с теми или иными изменениями, встречается в его бумагах разных лет. В таких случаях мы включали в книгу наиболее приемлемый, с нашей точки зрения, вариант с соответствующей датой.

Стихотворения, при которых автором, кроме года, проставлены число и месяц написания (преимущественно 1993–1996 гг.), печатаются в хронологическом порядке впереди других стихов соответствующего года. Следующие за ними расположены так:

а) в 1993–1996 гг. — в алфавитном порядке (за исключением нескольких стихов в конце списка);

б) с 1997 г. — в том порядке, в котором существуют в рукописи.

В стихотворениях 2000–2001 гг. год написания обозначен только в тех случаях, когда проставлен у автора. Точная датировка соседних стихов не наша задача, хотя их принадлежность периоду 2000–2001 гг. сомнения не вызывает.

СОДЕРЖАНИЕ

1993–1995

«Урал научил меня не понимать вещей...»	7
Завещание («Договоримся так: когда умру...»)	8
«Разве только ангел на четыре слова...»	9
Стихи для пустого альбома («Я приду к тебе...»)	10
Трубоч и осень («Полю шляпы висели, как уши...»)	11
Фонарь над кустами («Ты помнишь тёмную аллею...»)	12
Над красивой рекой («Если жизнь нам дана...»)	13
«Словно уши, плавно качались полы...»)	14
«Пойдёмте, друг, вдоль улицы пустой...»)	15
«Жёлтый мрамор — герой-пионер...»)	16
«В чёрной арке под музыку инвалида...»)	17
«Как некий — скажем — гойевский урод...»)	18
«Скрипач — с руками белоснежными...»)	19
«Когда сырой поднимется туман...»)	20
Трамвайный романс («В стране гуманных...»)	21
Манекен («Было всё как в дурном кино...»)	22
От самого сердца («Заозерский прииск...»)	23
Север («Он лежал под звездой алмазной...»)	24
«Фонтанчик не работает — увы...»)	25
Одним мурлыканьем («Стихи осенние...»)	26
Летний сад («...дождинка, как будто слеза...»)	27
За чугунной решёткой («Под руинами неба...»)	30
Петербург («...Фонари — чья рука...»)	31
«Ах, какие звёзды — это сказка...»)	32
Стансы («Фонтан замёрз. Хрустальный куст...»)	33
«Что сказать о мраморе, я люблю руины...»)	34
На мосту («Не здесь, на мосту, но там, под водой...»)	35
Прогулка с мальчиком («И снег, и улицы, и трубы...»)	36
«Прости меня, мой ангел, просто так...»)	37
Ходасевич («...Так Вы строго начинали...»)	38
«Хочется позвонить...»)	39

«Я скажу тебе не много...»	40
Девочка с куклой («С мёртвой куколкой...»)	42
Детское стихотворение («Видишь дом, назови его...»)	44

1996

На смерть поэта («Дивным светом иных светил...»).....	47
«Прощай, олимпиец, прощай навсегда...»	48
«Благодарю за всё. За тишину...»	49
«В том доме жили урки...»	50
Падал снег («Я в эту зиму как-то странно жил...»)	52
Памяти И. Б. («Когда бы смерть совсем стирала...»).....	53
Прощание с юностью («Как в юности, как в детстве...»).....	54
Чёрное небо («...На чёрном небе белая звезда...»).....	56
Элегия («Ворюгой, что, красненький пресс...»).....	57
«В России растаются навсегда...»	58
«...в эти руки бы надёжный автомат...»	59
К Овидию («Овидий, я как ты, но чуточку сложнее...»).....	60
«Нет, главное, пожалуй, не воспеть...»	61
Орфей («...и сизый голубь в воздух окунулся...»).....	62
Робинзон («Что воля для быка, Юпитеру — тюрьма...») ...	63
Вдоль канала («Когда идёшь вдоль чёрного канала...»).....	64
В кафе («Я пил пиво в безлюдном кафе. Бутерброд...»)	65
Царское Село («Поездку в Царское Село...»).....	66
«Ах, подожди ещё немножко...»	68
«Вдвоём с тобой, в чужой квартире...».....	69
«В одной гостиничке столичной...»	70
«Всё, что взял у Тебя, до копейки верну...»	71
«Долго-долго за нос водит...»	72
«Когда наступит тишина...»	73
«...Когда примерзают к окурку...»	74
Московский дым («Тяжела французская голова...»).....	75
«Над домами, домами, домами...»	76
«Нас с тобой разбудит звон трамвая»	77
Недоуменье («...С какою щедростью могу я...»)	78
Новый год («Жена заснула, сын заснул...»).....	79
Одной поэтессе («...Слоняясь по окраинным дворам...»)	80

О. Дозморову от Б. Рыжего («Мысль об этом леденит...»)	81
Памяти поэта («...Остаются нам детали и...»)	82
Почти элегия («Под бережным прикрытием листвы...»)	83
У телеэкрана («Уж мы с тобой, подруга, поотстали...»)	84
Фотография («...На скамейке, где сиживал тот...»)	85
«...Хотелось музыки, а не литературы...»	86
«Через парк по ночам я один возвращался домой...»	87
«Я в детстве думал: вырасту большим...»	88
«...Я подойду к окошку — как бы тайно...»	89
«...Я часто захожу до храма...»	90
7 ноября («До боли снежное и хрупкое...»)	91
«...Глядишь на милые улыбки...»	92
1997	93
«Зависло солнце над заводами...»	95
«Над головой облака Петербурга...»	96
Другу-стихотворцу («Здорово, Александр...»)	97
«Дядя Саша откинулся. Вышел во двор...»	99
«...Кто тебе приснился? Ёжик...»	100
Подражание Лермонтову («Жил я в городе Тюмени...»)	101
«Две сотни счётчик наматает...»	103
«Молодость мне много обещала...»	104
Элегия («...Нам взяли ноль восьмую алкаши...»)	105
К Олегу Дозморову («Владелец лучшего из баров...»)	106
«Взор поднимая к облакам...»	108
«Так гранит покрывается наледью...»	109
«Как пел пропойца под моим окном...»	111
«Похоронная музыка...»	112
«Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь...»	113
«Снег за окном торжественный и гладкий...»	114
1985 («В два часа открывались винные магазины...»)	115
Стихотворение Ап. Григорьева	
(«После многодневного запоя...»)	116
К А. П. («Почти случайно пьесу Вашу...»)	117
Отрывок большого стихотворения	
(«...История проста: я был приятель мужа...»)	119

«От заворота умер он кишок...»	120
«В номере гостиничном, скрипучем...»	121
1984 («До блеска затаскавший тельник...»)	122
Разрыв («Наташа, ангел мой, душа...»)	123
«Ночь. Каптерка. Домино...»	124
«Серж эмигрировать мечтал...»	125
Ода («Ночь. Звезда. Милицанеры...»)	126
«Оставь мне небо тёмно-синее...»	127
Писатель («Как таксист, на весь дом матерясь...»)	128
«Ночь — как ночь, и улица пустынна...»	129
«Мальчик пустит по ручью бумажный...»	130
Анна («...Я всё придумал сам, что записал...»)	131
«Ещё не погаснет жемчужин...»	133
«...Дым из красных труб...»	135
А. Блок («...Дописав письмо Борису...»)	136
«...И понял я, что не одна мерцала...»	137
«Ещё мы жизнью полны в высшей мере...»	138
«Жил на свете господин...»	139
К Дозморову («Отменно ль прозябается в краю...»)	141
На смерть поэта («Я так люблю иронию мою...»)	142
«Пела мама мне когда-то...»	143
Кусок элегии («Дай руку мне — мне скоро...»)	144
«В те баснословные года...»	145
«Поехать в августе на юг...»	146
Памяти друга («Жизнь художественна...»)	147
«Когда бы знать наверняка...»	149
«Учил меня, учил, как сочинять...»	150
«Вот дворик крохотный в провинции печальной...»	151
«Положив на плечи автоматы...»	152
«Как в жизни падал, как вставал...»	153
В гостях («Вот “Опыты”, вот “Сумерки”, а вот...»)	154
Матерщинное стихотворение («Борис Борисыч...»)	155
Элегия («Беременной я повстречал тебя...»)	156
«...А была надежда на гениальность. Была...»	157
Философская лирика («Прошла гроза...»)	158
Офицеру лейб-гвардии Преображенского полка г-ну Дозморову («Ни в пьянстве, ни в любви...»)	159

«Эмалированное судно...»	161
«Над саквояжем в чёрной арке...»	162
«Был городок предельно мал...»	163

1998

Расклад («Витюра раскурил окурок хмуро...»)	167
Сентиментальное послание А. Леонтьеву («В осеннем пустом Ленинграде...»)	169
«Ты бил реального чечена...»	170
«Давай, стучи, моя машинка...»	171
«Я пройду, как по Дублину Джойс...»	172
«Я улыбнусь, махну рукой...»	173
«Вот здесь я жил давным-давно...»	174
«Не вставай, я сам его укрою...»	175
«За Обвою — Кама, за Камою — Волга...»	176
«Жизнь — пала в лиловом мундире...»	178
К Сашке («Скажи-ка, эй, ты стал поэтом...»)	180
«Когда менты мне репу расшибут...»	181
Беженцы («В парке отдыха ярко...»)	183
«С плоской “Примой” в зубах...»	184
«Не забухал, а первый раз напился...»	186
«Разломаю сигареты...»	187
«От скуки-суки, не со страху...»	188
«Мотивы, знакомые с детства...»	189
«Флаги красн., скамейки — синие...»	190
Мальчики («По локти руки за чертой разлуки...»)	191
«Спит моё детство, положило ручку...»	192
«Ни разу не заглянула ни...»	193
«В безответственные семнадцать...»	194
Стихи уклониста Б. Рыжего («Когда бы заложить...»)	195
Толстой плюс («Вы помните, как удивлялся Пьер...»)	196
«Я был учеником восьмого класса...»	197
Из фотоальбома («Тайга — по центру...»)	198
«Восьмидесятые, усатые...»	200
«Мой герой ускользает во тьму...»	202
«Что махновцы, вошли красиво...»	204

Петербургским корешам («Дождь в Нижнем Тагиле...») ...	206
«Я музу юную, бывало...»	207
Дорогому Александру. Из села Бобрищево —	
размышления об («Весьма поэт, изрядный...»)	208
«Не жалею о прошлом, будь что было...»	209
Автомобиль («В ночи, в чужом автомобиле...»).....	210
«За стеной — дребезжанье гитары...»	212
«Оркестр играет на трубе...»	214
«Приобретут всеевропейский лоск...»	215
«Мои друзья не верили в меня...»	216
«Я скажу тебе, что хотел...»	217
«Двенадцать лет. Штаны вельвет...»	218
Путешествие («Изрядная река вплыла...»).....	219
«Есть фотография такая...»	221
«Над могилами белое...»	224
«Осколок света на востоке...»	225
«Июньский вечер. На балконе...»	226
«В полдень проснёшься, откроешь окно...»	227
«Дали водки, целовали...»	228
Элегия («Зимой под синими облаками...»)	229
«Начинается снег, и навстречу движению снега...»	230
«Сколько можно, старик, умиляться острожной...»	231
«С трудом окончив вуз технический...»	233
«Мимо больницы, кладбища, тюрьмы...»	234
Паровоз («С зарплаты рубль — на мыльные шары...»).....	235
«Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза...» ..	236
«Ничего не будет, только эта...»	237
«Не знавал я такого мороза...»	238
Памяти Полонского («Мы здорово отстали от полка...»)....	240
Петербургским друзьям («Мне цыганка нагадала...»).....	242
«Осенние сумерки злые...»	243
«Брега Невы. Портвейн с закускою...»	244
«Бог положительно выдаст, верней — продаст...»	246
А. Пурину при вручении бюстика Аполлона	
(«Сие примите благосклонно...»)	247
Дружеское послание А. Кирдянову	
(«С берегов стремительной Исети...»).....	248

«Достаю из кармана упаковку дурмана...»	253
Качели («Был двор, а во дворе качели...»).....	254
«Много было всего, музыки было много...»	255
«На окошке на фоне заката...»	256
«Поздно, поздно! Вот — по́ небу прожектора...»	258
«По родительским полям пройдуся...»	259
«Не во гневе, а так, между прочим...»	260
«В наркологической больнице...»	261
«Мальчик-еврей принимает из книжек на веру...»	262
«В сырой наркологической тюрьме...»	263
«Похоронных оркестров не стало...»	264
«Трижды убил в стихах реального человека...»	265
«Мы целовались тут пять лет назад...»	266
Романс («Мотив неволи и тоски...»)	267
«Я помню всё, хоть многое забыл...»	269
«Я работал на драге в посёлке Кытлым...»	270
«А иногда отец мне говорил...»	271
«Прежде чем на тракторе разбиться...»	273
«Ордена и аксельбанты...»	274
Чтение в детстве — романс («Окраина стройки...»)	276
«Нехорошо быть небогатым...»	277
«Нужно двинуть поездом на север...»	278
«Словно в бунинских лучших стихах...»	279
«Включили новое кино...»	280
«Где обрывается память, начинается старая фильма...»	281
«Когда в подъездах закрывают двери...»	282
«В обширном здании вокзала...»	284
Море («В кварталах дальних и печальных...»).....	286
«Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей...»	287
Осень («Уж убран с поля начисто турнепс...»)	288
«Только справа соседа закроют, откинется слева...»	289
«У памяти на самой кромке...»	290
«Надиктуй мне стихи о любви...»	291
«Мне не хватает нежности в стихах...»	292
«До пула сорвав обноски...»	293

«Вы, Нина, думаете, вы...»	294
«Не забывай, не забывай...»	295
«Прошёл запой, а мир не изменился...»	296
«У современного героя...»	297
На мотив Луговского («Всякий раз, гуляя...»)	298
«На фоне гранёных стаканов...»	299
«Подались хулиганы в поэты...»	300
«Так я понял: ты дочь моя, а не мать...»	301
«Я зеркало протру рукой...»	302
Маленькие трагедии («Нагой, но в кепке...»).....	303

2000–2001

Считалочка («Пани-горе, тук-тук...»)	307
Элегия («Благодарю за каждую дождинку...»).....	308
«Завидуешь мне, зависть — это дурно, а между тем...» ...	309
«Живу во сне, а наяву...»	310
«Я подарил тебе на счастье...»	311
«И огни светофоров...»	312
«Стань девочкою прежней с белым бантом...»	313
«Веди меня аллеями пустыми...»	315
«Как только про мгновения весны...»	316
«Вспомним всё, что помним и забыли...»	317
«Не черёмухе в сквере...»	318
«Помнишь дождь на улице Титова...»	319
«В Свердловске живущий...»	320
«Ты танцевала, нет, ты танцевала...»	321
«Я по снам по твоим не ходил...»	322
«Я тебе привезу из Голландии Lego...»	323
«Зелёный змий мне преградил дорогу...»	324
«10-й класс...»	325
Гимн кошке («Ты столь паршива, моя кошка...»)	327
«Мальчишкой в серой кепочке остаться...»	328
«Погадай мне, цыганка, на медный грош...»	329
«Отмотай-ка жизнь мою назад...»	330
«Гриша-Поросёнок выходит во двор...»	331
«Рубашка в клеточку, в полоску брючки...»	332

«Не надо ничего...»	334
«Я по листьям сухим не бродил...».....	335
«Сесть на корточки возле двери в коридоре...»	336
«За обедом, блядь, рассказал Косой...»	337
«На границе между сном и явью...»	338
«С антресолей достану “ТТ” ...»	339
«На теплотрассе выросли цветы...»	340
«Если в прошлое, лучше трамваем...»	341
«Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом...»	342
«Не покидай меня, когда...».....	343
«Не безысходный — трогательный, словно...»	344
«Бритвочкой на зеркальце гашиш...»	345
«И вроде не было войны...»	346
«Городок, что я выдумал и заселил человеками...»	347
«Синий свет в коридоре больничном...»	348
«Осыпаются алые клёны...»	349
«Когда бутылку подношу к губам...».....	350
«Ничего не надо, даже счастья...»	351
«А грустно было и уныло...»	352
Разговор с богом («Господи, это я мая второго дня...»).....	353
«Дай нищему на опохмелку денег...»	354
На смерть Р. Т. («Вышел месяц из тумана...»)	355
От составителя	357

Р 93

Рыжий Б. Стихи — 2-е издание, исправленное —
СПб.: «Пушкинский фонд», 2014. — 368 с.

ISBN 978-5-89803-238-8

ББК 84. Р7

Рыжий Борис Борисович

Стихи

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2013

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Тираж 500 экз. Заказ № 109

Отпечатано в типографии ООО «ИПК БИОНТ»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., дом 86

Тел.: (812)322-6843

ПУШКИНСКИЙ ФОНД